

ЕВГЕНИЙ
СУХОВ



РУСЬ
ОКАЯННАЯ



ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ
ГОСУДАРЯ

Лихие леты Ивана Грозного

Евгений Сухов

Жестокая любовь государя

«ЭКСМО»

1999

Сухов Е. Е.

Жестокая любовь государя / Е. Е. Сухов — «Эксмо»,
1999 — (Лихие леты Ивана Грозного)

Попытки бояр сосватать царю Ивану польскую принцессу не увенчались успехом. Король Сигизмунд был наслышан о распутстве юного московского правителя и не решился отдать за него свою любимую младшую сестру. Первой женой Ивана IV стала Анастасия – дочь знатного боярина Романа Захарьина. Горячо привязался Иван Васильевич к красавице Анастасии, ставшей матерью троих его сыновей. Но опальные бояре, плетущие заговор против могущественного рода Захарьиных, стубили молодую царицу... Второй супругой царя Ивана была гордая и своенравная дочь черкесского князя Темрюка. Второй, но далеко не последней...

© Сухов Е. Е., 1999

© Эксмо, 1999

Содержание

Часть первая	5
Монетный двор	5
Анюта-белошвейка	11
Забавы великого князя	14
Государь входит в силу	20
Дьяк Захаров раскрывает заговор	26
Казнь	33
Пелагея	36
Часть вторая	39
Венчание на царствие	39
Тать Яшка Хромой	44
Проклятие Пелагеи	48
Великие смотрины	52
Царская свадьба	61
Брачная ночь	68
Медовый месяц	71
Яшкина заимка	73
Разбор челобитных	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Евгений Сухов

Жестокая любовь государя

Часть первая

Великий князь всея Руси

Монетный двор

С левого берега Неглинки ухнуло – это на Пушечном дворе тешились пищальники, стараясь угодить каменным ядром в ледяную крепость, которая величаво скользила по мутной весенней реке. Этот выстрел заставил воспарить в воздух бестолковую воронью стаю. И еще долго, криком будоража окрестность, птицы не смели возвратиться на взрыхленное, отошедшее от снега поле.

Перемена к новому ощущалась не только в несмолкающем вороньем гомоне над куполами Благовещенского собора, но и в самом воздухе, который сейчас был как никогда свеж, и в пестрых нарядах посадского люда, спешившего снять с себя суконные душегрейки и обрядиться в яркие длиннополые кафтаны. Бабы, под стать погоде, повязывали цветастые платки, не жалея белил, светили лицо и, зацепив ведра на коромысла, шли по воду, как на гулянье. Обернется иной мужик на ладную девичью фигуру и, словно устыдясь бесовского погляда, пойдет далее, ускоряя шаг.

День был торговый, и уже с утра с посадов и из окрестных деревенок, несмотря на слякоть, тянулись в Кремль повозки с товаром. Караульщики, стоявшие у ворот, в город пускали не всякую телегу: одно дело – промысленники великого князя, что везут ко двору снедь всякую, другое дело – человек подлый, решивший обжиться на базаре да товару прикупить. Дворовых государя было видно издалека – пожалованы из казны кафтанами. Мужики одеты поплоче – вместо ферязей¹ армяки² и на голове не увидешь горлатной шапки³. Черные люди, покорно подчиняясь взмаху бердышей, останавливали лошадей и, сетуя на месяц цветень⁴, шли пешком в город. С сожалением вспоминалась зима, когда торг шел на Москве-реке, куда сходились купцы со всей Московии, – не то, что ныне!

Даст иной мужик караульщику в руку копейку и попросит последить за меринком. Тот хмыкнет под нос и велит мужику проходить. Хоть и нет уверенности в том, что лошадь будет присмотрена, да с уговором оно как-то легче.

В торговый день Москва походила на густую паутину, сплетенную искусным ловчим, к самому центру которой узкими посадскими улочками пробирались торговые люди, а за ними шли в стольную нищие в надежде собрать щедрую милостыню и обрести на ночь теплый кров.

Силантий отвесил поклон страже, которая лениво поверх голов наблюдала за движением льда на Москве-реке: громадины, соединяясь, образовывали огромные храмы, а то вдруг, повинаясь чьей-то невидимой воле, напозлали на крутые берега и рассыпались с мягким шорохом.

¹ *Ферязь* – распашная (без застежек) одежда без воротника, обычно праздничная.

² *Армяк* – распашная одежда вроде халата.

³ *Горлатная шапка* – шапка из ценного горлового меха.

⁴ *Цветень* – апрель.

Купола Благовещенского собора были видны издалека, их золотой свет слепил глаза, а маковки напоминали солнце. Силантий снял шапку и пошел напрямиком на главки Грановитой палаты.

Ворота великокняжеского двора распахнулись, и на улочки в одинаковых красных кафтанах выехала дюжина всадников. Украшенные золотом попоны на лошадях свисали едва ли не до земли. За ними, чуток поотстав, следовало трое бояр в куньих шубах. Среди них выделялся тот, что ехал посередке: парчовая ферязь, сафьяновые сапоги с татарским узором, на голове черевья шапка⁵. Боярин как бы не замечал склоненных голов, держался прямо, будто опасался, что огромная шапка, башней торчавшая на самой макушке, свалится набок и останется он простоволосым среди покорной и безмолвной толпы. Но эта невнимательность была напускной: пронзительный взгляд цеплял мастеровых, с разинутым ртом смотрящих на боярина, девок, закрывающих рукавами лица, юродивого, стоящего на коленях у самых ворот. Если чего и не видел боярин, то враз подмечали всадники и щедро раздавали удары плетью каждому мужику, осмелившемуся предстать в шапке.

Боярин горделиво повел головой, и его взгляд остановился на Силантии.

– Кто таков?! Как на княжеский двор забрел? – осерчал вельможа.

Детина распрямился и, остановив взгляд на золотых пуговицах боярина, отвечал:

– Силантий я, господин, на службу к государю иду, по чеканному делу я мастер.

– Так и шел бы на Монетный двор.

– Был я там. К боярину Воронцову Федору Семеновичу отослали – только он один и решает, кому из мастеров быть на Монетном дворе.

– Не похож ты на чеканщика, – усомнился боярин, – больно рожа у тебя разбойная. Третьего дня двоим таким, как ты, олово в глотку залили, а другому уши отрезали.

Силантий различил, что верхняя пуговка на груди сердитого господина без позолоты и чуток примята, и догадался, что перед ним кулачный боец.

– Почто понапрасну недоверием обижаешь, боярин? Я не из таких, а чеканю я не рожей, а руками! – Силантий развернул ладони, показывая их всаднику. – Ишь ты! Языкастый какой! Эй, Захарка, кличь боярина Воронцова, скажешь, что чеканщика ему сыскал, – наказал вельможа одному из слуг, и тот, расторопно погоняя жеребца, вернулся на великокняжеский двор.

Боярин, сразу позабыв о Силантии, повернул коня в Китай-город.

– Кто это? – спросил чеканщик, когда отряд всадников спрятался за изгородью собора.

– Кто? Кто? – пробурчал дворовый, натягивая на уши шапку. – Неужто не признал? Сам князь Андрей Михайлович Шуйский будет! Благодарю господа, что без башки не остался. Крут он! Не велено по двору таким лапотникам, как ты, шастать. И как это стража недоглядела?

Сказал и пошел прочь от дворца подальше, словно от греха.

– Неужно?! – ахнул Силантий, крестясь.

– Кто здесь чеканщик? – вышел из великокняжеского двора мужик в служилом платье. – Кто боярина Воронцова добивался?

– Я это, – отозвался чеканщик, уже не уверенный в том, что правильно поступает, решившись пойти на государеву службу.

– Ты? – недоверчиво посмотрел дьяк. – Ну да ладно, пойдем! Боярин тебя дожидается.

Великокняжеский двор был полон стражи. Одни, закинув ружья на плечи, неторопливо расхаживали по двору, другие пищальники несли караул у рундуков, с которых начиналась парадная лестница, и на Красном крыльце, зорко всматриваясь в каждого входящего – не припрятал ли под кафтаном оружие. На Постельном крыльце, как всегда, толпились стольники⁶,

⁵ *Черевья шапка* – шапка из легкого и мягкого (брюшного) меха.

⁶ *Стольник* – придворный, прислуживающий государю на трапезе.

стряпчие⁷ и дворяне разных чинов, они вполголоса переговаривались меж собой, ожидая новостей и государевых указов.

Дьяк повел Силантия мимо Красного крыльца в дубовую избу, у входа в которую маялся молодой караульщик.

В горнице было просторно и сухо, пахло расплавленным воском, а по углам горели свечи. На лавке, за огромным, гладко тесанным столом сидел боярин.

– Ты, что ли, чеканщик? – недоверчиво поинтересовался он у Силантия.

Тот, скрывая робость, перешагнул высокий порог, поприветствовал вельможу большим поклоном, касаясь пальцами темного сора, что был всюду разбросан на полу, и отвечал:

– Да, боярин.

– Где же ты чеканному делу учился?

– Из Нового Града я, батя меня часто с собой брал пособить.

– Из Новгорода, говоришь. – Голос боярина Воронцова потеплел. – Мастера там знатные, что и говорить. И церкви мурованные⁸ сумеют поставить, и монет начеканят. А знаешь ли ты, холоп, такого знатного чеканщика – Федора сына Михайлова, по прозвищу Кисель?

Мастеровой вдруг зарделся, словно солнышко на закате:

– Как не знать? Это мой отец.

– Вот оно что, – протянул боярин, приглядываясь к мастеровому повнимательнее. – А какие ты ремесла, кроме чеканки, знаешь?

– Да всему понемногу обучен. Подметчиком могу быть, резальщиком. Ежели что, тянульщиком или отжигальщиком⁹.

– Хорошо. Беру тебя на Денежный двор, – согласился боярин. – Василий Иванович, – обратился он к дьяку, сухонькому, словно стручок, отроку¹⁰, который что-то усердно кропал у коптящей лучины. – Пиши его в книгу. Как тебя?

– Силантий сын Федора.

– Взять чеканщиком на Денежный двор Силантия сына Федора, жалованье положим... три рубля. А еще со стола моего харч получать станешь, платье я тебе дам служилое. А если в воровстве уличим, так олово в глотку зальем, – строго предупредил боярин. – А теперь крест целуй, что не будешь воровать серебра и денег. В серебро меди и олова примешивать не станешь. В доме своем воровских денег делать не будешь и чеканов не станешь красть. Дьяк, крест ему подай!

Стручок встрепенулся, издавая треск, будто горошины на пол просыпались:

– С Христом или так?

– С Христом давай, оно понадежнее будет.

Дьяк снял со стены распятие и поднес его к губам Силантия, который ткнулся лицом в стопы Спаса.

– А теперь прочь ступайте, мне сегодня на Думу идти.

Оказавшись на крыльце, Силантий вздохнул глубоко, до того тяжек ему показался дух в горнице. Еще не отдышался, а дьяк уже напустил на себя строгость и заговорил:

– Боярин тебе одно глаголил, ты его слушай, он голова, но вот спрашивать с тебя буду я! И называй меня Василий Иванович, а сам я из Захаровых. Может, для кого-то я и Васька, и сын холопий, но для тебя величаюсь по имени и отчеству. А теперь пошли на Монетный двор.

Монетный двор находился в излучине Москвы-реки, неподалеку расположился городок, прозванный отчего-то Бабьим. Может, потому, что находился он между двух дорог: Большой

⁷ *Стряпчий* – придворный, исполняющий различные хозяйственные обязанности.

⁸ *Мурованный* – каменный.

⁹ *Подметчик, резальщик, тянульщик, отжигальщик* – рабочие специальности Монетного двора.

¹⁰ *Отрок* – слуга при царе, князе; дружинник.

Ордынкой и Крымским бродом; и если искали здесь татарове поживу, то только живой товар – дорого стоили белокурые славянки в далекой Кафе. В излучине и Житный двор, и льняные поля, на которых девушки вязали упругие снопы.

– Стало быть, знаешь денежное дело? – посмел усомниться Василий Захаров.

– Как не знать, если с малолетства чеканю.

– Так вот что я хочу тебе сказать. У вас там в Новгороде порядки одни, а у нас другие. Во двор заходишь – раздеваешься донага, а караульщики тебя смотрят, чтобы не принес с собой дурного металла, а выходишь со двора – опять смотрят, чтобы чеканку не унес. И упаси тебя господи одурачить нас. Под батогами помрешь!

Силантий отмолчался и смело шагнул на Монетный двор вслед за дьяком.

Тут Василий Захаров был главным. Он уверенно распоряжался мастеровыми, крепко матерился, когда кто-то досаждал пустяками, потом отвел Силантия на чеканное место и сказал:

– Здесь будешь пока работать, а потом резальщиком поставлю. Старого резальщика гнать хочу, четвертый день пошел, как в запое, потом руки дрожать будут так, что и ножницы не поднимет. А ведь обратно, стервец, проситься станет.

Сам Василий Захаров был из дворовых людей. Отец его чином невелик – дослужился у государя до чарошника, подавал в обед питье стольникам. Сам же Василий мечтал подняться повыше, если не до думного дьяка¹¹, то уж в дворяне московские выбиться. Он рано освоил грамоту: на восьмой год уже читал бегло, а к десяти помнил наизусть псалмы и охотно соглашался петь в церковном хоре за алтын. Способного мальчишку заприметили, и в семнадцать лет он сделался дьяконом в Троицкой церкви. Возможно, Василий стал бы духовным лицом и сопровождал бы государя на богомолье, смешавшись с толпой таких же, как и он, священников малых церквей, которых насчитывалось по Москве и в посадах не одна сотня, не сломайся как-то у боярина Федора Воронцова тележная ось.

Федор Семенович чертыхнулся при такой задаче, качнул своим могучим телом и ступил сафьяновыми сапогами в грязь государева Живодерного двора. Пахло смрадом, ревела скотина, напуганная запахом крови. Жильцы¹² стаскивали битых животных на ледники в овраги, другие разделявали скот здесь же, на дворе.

Федор Семенович, увязнув по щиколотку в вонючей грязи, смешанной с пометом и навозом, пошел в сторону церкви, которая широким шатром укрывала угол Живодерного двора.

– Эй, малец, – окликнул боярин проходившего мимо Василия. – Где здесь отец Феофан проживает?

– Пойдем, боярин, покажу, – отозвался Захаров и повел его за околицу Живодерного двора, напрямиком к аккуратной избе с высокой крышей.

– Что это ты тащишь? Никак книгу? Неужно грамоте обучен? – усомнился боярин, и Василий Захаров уловил в его голосе уважительные нотки.

– Читайте, – с достоинством отвечал мальчишка. – С шести лет кириллицу знаю.

– Ишь ты, какой смысленый! Как же это ты преуспел, если даже не каждый боярин в грамоте силен?

– Псалмы я пел, а здесь грамоту нужно знать, чтобы в слове не соврать.

– Может, ты еще и чина церковного?

– Церковного, господин.

И когда уже дошли до крыльца, боярин вдруг предложил:

¹¹ Думный дьяк – 4-й (низший) чин Боярской Думы.

¹² Жилец – дворянин, находящийся на службе государя и временно проживающий при его дворе.

– Хочешь при мне держальником¹³ быть? – Но, рассмотрев в глазах отрока сомнение, добавил: – Потом подьячим тебя сделаю, как увижу, что службу справляешь. Ко дворцу станешь ближе, великого князя будешь видеть.

Этот последний довод сильнее всего подействовал на молодого Захарова.

– Хорошо. Приду к тебе на двор.

– А вот это тебе за то, что проводил, – сунул боярин в ладонь Василия гнутый гривенник.

– Я, чай, не милостыню просил, а работа моя куда дороже стоит, – возразил вдруг отрок и, подзвав к себе нищего, бросил ему серебряную монету.

Боярин Федор Воронцов служил на Монетном дворе, и Василий исправно исполнял при его особе роль держальника: отвозил письма в Думу; коня под уздцы держал, когда боярин с коня сходил, а иной раз брался за перо и вел счет в приказе.

Скоро Федор Воронцов понял, что держать смышленного отрока при себе неумно: от него куда больше пользы будет в приказе. Через полгода боярин сделал юношу подьячим, а потом перевел и в дьяки Денежного приказа.

Василий умело управлялся и с этим: денежное дело он успел узнать тонко; не ленился заглядывать во все уголки двора, ревниво наблюдал за тем, как готовится серебро, ровно ли нарезана монета. Когда-то он мечтал стать московским дворянином, а теперь дьяк в приказе! И вотчину¹⁴ свою имеет, а не старик ведь – двадцать два только и минуло. Дьяком бы думным стать.

Василий Захаров наблюдал за тем, как Силантий стянул с себя рубаху, поднял руки, и караульщик обошел его кругом – не припрятал ли чего? Потом Силантий стянул с себя портки и, стесняясь своей худобы, переступал с ноги на ногу на земляном полу.

– Иди! – махнул рукой караульщик и, подзвав к себе лохматую псину, потрепал ее рыжий загривок.

На Монетном дворе Василий Захаров чувствовал себя господином, и единственные, кто не подчинялись его воле, так это дюжина караульчиков, охраняющих двор и приставленных к мастеровым. Они послушны были только Боярской Думе или ее действительному хозяину – Андрею Шуйскому, который особенно ревностно следил за Монетным двором. Это пристальное внимание к Денежному приказу было не случайным – им заведовал давний его недруг Федор Воронцов, который возымел на юного государя огромное влияние, и Андрей Шуйский ждал удобного случая, чтобы опрокинуть своего соперника.

Однажды он лично предстал на Монетном дворе, поманил к себе пальцем Василия и спросил по-дружески:

– Как служится тебе, дьяк? Федька Воронцов не досаждает?

Захаров засмотрелся на золотую кайму на кафтане боярина, потом уперся глазами в начищенные пуговицы, свет от которых слепил глаза, и произнес:

– Служится хорошо, Андрей Михайлович, и жалованье приличное имею. – Дьяк осмелился поднять голову и заглянул в красивое лицо боярина.

Зря об Андрее Шуйском много худого говорят – лицом пригож и речами добр.

– Если что заметишь неладное за Федором, дай знать... За службу дьяком тебя в Думе поставлю, – все так же приветливо улыбался боярин.

И теперь Василий Захаров понимал, что не успокоятся бояре до тех пор, пока один не растопчет другого.

Василий хотел уйти с Монетного двора, но громкий голос караульщика остановил его:

– Дьяк! Ты что, забыл про наказ?! Каждый, кто входит на Денежный двор и покидает его, должен разнагишаться!

¹³ Держальник – помощник.

¹⁴ Вотчина – наследственное земельное владение.

Дьяк Захаров прошел в избу и стал медленно распясывать сорочку, а перед глазами стояла лукавая улыбка конюшего¹⁵ Андрея Шуйского.

¹⁵ *Конюший* – высший боярский чин.

Анюта-белошвейка

Андрей Шуйский попридержал жеребца у великокняжеского двора, спешил. Как всегда, у Грановитой палаты толпился народ: дьяки выкрикивали имена челобитчиков; просители примерно выжидали у крыльца; водрузив бердыши на плечи, степенно между соборами разгуливали караульщики.

Князь Андрей Шуйский поднялся по Благовещенской лестнице, миновал застывшую стражу; шел он прямо в терем к великому государю. Стольники и стряпчие, толпившиеся на крыльце, почтительно примолкли и оказали ему уважение большим поклоном, как если бы мимо прошел сам великий князь. Андрей шел в Верх – так бояре меж собой нарекли терем, где вот уже почти столетие размещались русские государи. В одной из комнат его дожидались брат Иван и Федор Иванович Скопин. Стража почтительно распахивала перед князем двери, пропуская его в глубину терема.

Князь Андрей Михайлович Шуйский принадлежал к старейшему русскому роду, древо которого начиналось с великого Рюрика. Шуйские всегда помнили о том, что являются потомками старшей ветви первого русского князя, в то время как великие московские князья относились к младшей. Поэтому и в Думе Шуйские сидели ближе всех к государю и не участвовали в зазорных спорах менее родовитых князей, «кому над кем сидеть». И бояр¹⁶ среди них было больше, чем из остальных семейств. Дети Шуйских начинают свое служение в Думе с окольников¹⁷, в то время как другие рода, кровь которых замешана пожиже, окольными завершают свою службу.

Андрей Шуйский сейчас ощущал свою власть как никогда: он был первый среди бояр и второй после великого князя. Был еще Бельский, да сгинул в темнице. Однако его начало тяготить нарастающее могущество главы Монетного двора Федора Воронцова, к которому неожиданно для многих крепко привязался малолетний государь. Воронцова и двенадцатилетнего самодержца частенько можно было встретить вместе в тереме: Федор потешал Ивана фокусами и, уподобившись дитяте, бегал наперегонки с ним по дворцу. Шуйские ревниво замечали, как загораются глазенки великого князя, когда Воронцов переступал государеву комнату.

– Зла от Федора пока не видно, – делился с братьями Андрей, – но ведь он когда-нибудь и нашептать может, что Шуйские, дескать, старшими Рюриковичами себя величают. Вот тогда не миновать темницы.

При упоминании о темнице Андрей Шуйский поежился. Несколько лет назад посажен он был в земляную яму великой княгиней Еленой, которая обвинила князя в измене. Так и сгинул бы боярин в печали, если бы не прибрал окаянную дьявол.

Уже прошла вечерняя служба, и в этот час во дворце было тихо. Стряпчие в темных углах зажигали фонари и свечи, служивые люди разбрелись по домам, остались жильцы да стряпчие, которые посуточно караулили государя.

В маленькой комнате, где находились бояре, тихо потрескивали сальные свечи. Андрей подошел к самой двери и услышал размеренный голос брата Ивана:

– От Воронцова все лихо идет. Он ведь государю и нашептывает, чтобы нас не жаловал, а как тот подрастет малость, так вообще в немилость попадем.

Андрей приоткрыл дверь, неторопливо переступил порог.

¹⁶ Бояре – здесь: первые чины Боярской Думы.

¹⁷ Окольниковый – 2-й чин Боярской Думы.

– Доброго здоровья, – наклонил голову князь у самых дверей. – О чем суд да дело? Задержался я малость, вы уж простите меня Христа ради. На Конюшенный двор ездил, хозяйство свое смотрел.

Князь Андрей Шуйский ведал Конюшным приказом. Однако сейчас боярин лукавил: возвращался он с дальней заимки, где дарила ему свою шальную любовь мастерица Московского дворца.

– Мы вот здесь о государе нашем глаголем, – слегка приобнял брата Иван. – Федька Воронцов его своими речами смущает, того и гляди нас с Думы попрет!

– Дело тут не только в Федьке Воронцове, – подал голос Скопин-Шуйский. – Государь растет; ранее, бывало, мальчонкой все плакал, когда в Думу велели идти, от мамки ни на шаг не отходил, а сейчас и послам навстречу встать не хочет. А год-другой минует, так его совсем гордыня обуюет. Во всем видна она, спесь московская!

– Верно, совсем великий князь вырос. Я вот как-то мимо мыленки проходил, бабы дворовые там полоскались, так Иван Васильевич к двери припал и за девками подглядывает. Да так уставился, что и не отодрать! – поделился своими наблюдениями князь Андрей.

Иван Шуйский усмехнулся:

– В мать пошел. Елена тоже такая похотливая была. Василий Иванович не успел преставиться, как она уже к боярину Оболенскому на двор бегать стала. Тоже великая княгиня! Чем не сенная девка?

– Верно говоришь, брат. Государь Василий Иванович в последние годы силы стал терять, так, может, Елена сыночка-то от Овчины-Оболенского понесла? Недаром ведь когда в темницу Оболенского вели, так Ваньку от его шеи двое дюжих мужиков отодрать не могли.

Андрей Шуйский любил эту комнату: лавки, столы, даже потолки были наряжены багряным сукном. Стряпчие не заходили сюда – здесь бояре дожидались государя. Сладкие благовония щекотали ноздри; Андрей разинул рот и громко, прикрываясь ладонью, чихнул, а потом, собрав в жменью мягкую опушку, свисавшую с лавки, вытер ладони.

– Вот я о чем подумал. Бабу Ваньке надо подсунуть. Вот тогда малец обо всем и позабудет. Баба – она посильнее всякой другой страсти. И деваха такая должна быть, чтобы совсем Ивана присушила, чтобы и матерью сумела ему сделаться, и зазной стала горячей. Чтобы поплакаться к ней государь приходил и страсть свою умерить.

– Может, Андрюха и дело говорит, – согласился Скопин-Шуйский. – Только где такую сыщешь? У тебя есть на примете?

Князь Андрей хмыкнул себе под нос, вспоминая сладкую и бедовую ночь, а потом сказал:

– Есть такая! Зазноба моя. Ну да я не жадный, пускай Иван себе ее забирает, вот через нее я с великим князем и породнюсь, – громко засмеялся боярин.

Анюта была небольшого росточка, и если б не глазищи, в которых угадывалась страсть, ее можно было принять за подростка. Замуж девку отдали пятнадцати лет от роду за боярского сына.

Во время смотрин отец поставил доченьку на лавку, которую предусмотрительно спрятал под сарафан, и, пригласив сватов любезным жестом, стал расхваливать невесту:

– Посмотрите, какая красавица! И дородна, и лицом пригожа. А какая рукодельница! Другой такой во всем посаде не встретите. Ну-ка, мать, неси рушники, что наша доченька связала!

Сваты строго всматривались в лицо, придирчиво разглядывали фигуру девки, пытались отыскать изъян, но ничего не нашли и, довольные, отправились восвояси.

Только когда молодые, благословясь, целовали иконку, а поп протянул: «Аминь!», Анюта спрыгнула со скамеечки и оказалась жениху ровно по пуп.

У бедного детины посерело лицо, и он растерянно водил руками:

– Как же я с ней жить стану? Она же вполовину меня будет!

Сватов за недосмотр били кнутами на великокняжеском дворе. Боярин – отец жениха – писал ябеду государю и митрополиту, и брак был расторгнут. Опозоренную девку прогнали со двора, и теперь не находилось для нее места ни в батюшкином доме, ни в горнице свекра.

Анюта и вправду слыла знатной мастерицей. Еще в девичестве вышивала ковры золотыми и серебряными нитями, выдумывая всякий раз диковинные узоры. Со всей округи сходились рукодельницы, чтобы посмотреть ее полотна и рушники. Купцы, не скупясь, платили за тонкую работу звонкие рубли. Эта талантливость и сослужила мастерице, когда государев стол укрыли скатертью, шитой Анютой.

– Кто вязал? – спросила великая княгиня Елена, мать государя, разглядывая на скатерти заморские цветы.

Боярыни и мамки стыдливо молчали, а потом самая смелая из девиц произнесла:

– Анюта это. Известная мастерица на всю округу. Не то девка, не то безмужняя. Не поймешь! Свекор ее за обман со двора своего выставил. Опозоренная она, государыня.

Елена оглядела скатерть: в самой середине вышит фазан с длинными золотыми перьями и серебряным хвостом. Крылья у птицы слегка приподняты, голова немного наклонена, еще миг, и она вспорхнет со скатерти под потолок.

– Дай ей жалованье, и опозоренной не будет, – изрекла государыня и, подумав, добавила: – А еще деревеньку в кормление получит... близ Москвы.

Так Анюта оказалась во дворце.

Но в ее маленьком тельце таилась неудержимая страсть, которая иногда прорывалась наружу. Уже на следующий день Елене нашептали, что юная мастерица закрывалась в подклети с одним из стряпчих. Государыня только слегка журила Анюту за маленькие шалости, не в силах расстаться с мастерицей. А та, натешившись со стряпчим, уже поглядывала на стольника. Скоро к ее похождениям привыкли, и даже бояре, защемив бесстыдницу в темном уголке, тискали ее горячее тело.

Несколько жарких ночей провел с Анютой боярин Андрей Шуйский, и сейчас ему думалось, что эта девка как никто подойдет юному самодержцу. Даже роста они были одного!

Отыскав Анюту в тереме, Шуйский без обиняков наставлял ее:

– Хватит тебе под стольничими ужиматься. Я вот здесь с государем Иваном переговорю, полюбовницей его будешь, да чтобы так его тешила – обо всем бы позабыл и, кроме как о тебе, думать ни о чем не смел!

– Так государю нашему только двенадцать годков и минуло, – подивилась Анюта.

– Для жены и вправду рановато, а чтобы полюбовницу завести, так это в самый раз будет. А на годки ты не смотри – Иван в тело вошел! Сама увидишь, как нагишом пред тобой предстанет. Так что ты первой бабой его будешь, и знай про эту честь. – Заприметив волнение Анюты, подбодрил: – Да ты не робей, все так, как надо, будет! С лаской ты к государю подойди да посмелее действуй. Сам-то государь не догадается с себя сорочку да порты снять, так ты ему помоги. А чтобы он не растерялся, ты его исцелуй всего, тогда в нем мужская сила пробудится. И крестись, со знаменем оно как-то легче будет!

Вот так и получилось, что Елена, пожелавшая иметь во дворце чудесную мастерицу, готовила своему сыну любовницу.

Забавы великого князя

Государь Иван Васильевич, значительно опередив сверстников, походил на юношу, и с трудом верилось, что ему едва минуло двенадцать годков. На верхней губе пробивался темный пушок, руки не по годам сильны, а в плечах угадывалась та скрытая мощь, которая обещала крепнуть год от года. Лицом Иван походил на мать, а это значило, что жизнь его должна протекать счастливо. Такие же, как и у Елены, капризные губы, большие и выразительные глаза, даже лоб такой же высокий, как у матушки.

Однако само рождение предопределило ему непростую судьбу. В тот день над Москвой прошел ураган, который порушил несколько теремов, обломал крест на Благовещенском соборе, а затем пролетел над татаровой дорогой в сторону Казани. Юродивые в этот день не спешили идти ко дворцу за привычной милостыней, толкались на базарах и всюду шептали одно и то же:

– Сатана на Руси народился! Сатана! Вот подрастет он, тогда водица нам не нужна станет, кровушкой своей обопьемся.

Иван Васильевич отца не помнил, но всегда знал себя государем, став им сразу после смерти великого московского князя. Ивану шел тогда четвертый год. По несколько часов кряду ему приходилось высидывать в Боярской Думе, держа в руках яблоко и скипетр. Руки его всегда помнили привычную тяжесть самодержавных регалий, он видел склоненные седые головы бояр, сами Шуйские целовали ему пальцы. Ваня сидел на батюшкином кресле, слушая жаркие споры и неинтересные разговоры бояр.

Первым в Думе был конюший Овчина-Телепнев-Оболенский, который выделялся не только природной статью, но и сильным голосом. Бояре невольно умолкали, когда тот начинал говорить. А Оболенский вещал всегда неторопливо, с достоинством, и трудно было Ивану тогда понять величие конюшего. Прозрение пришло позднее, когда государь случайно услышал разговор двух бояр. Один из них, показывая на сильные руки Оболенского, изрек:

– Посмотри, какие ручищи-то здоровенные! Он ими не только государство за шкуру держит, но и великую княгиню за титьки. А через нее нами как хочет, так и вертит.

И, заметив государя, почти младенца, который едва что понимал тогда из того разговора, бояре низко согнулись, пряча смущенные лица.

Оболенский всегда сидел в Думе рядом с Иваном. Иногда поворачивал голову в его сторону, спрашивал ласково:

– А как государь наш батюшка, не против уговора?

– Нет, – пищал со своего места Иван.

И речь Оболенского снова текла неторопливо и внушительно.

Иван по-сыновьи привязался к этому сильному и великодушному боярину, который неизменно называл Ваню «государь-батюшка», и чувствовал себя под его опекой надежно.

Два человека, к которым Иван был по-настоящему привязан, ушли от него в один месяц. Мать умерла сразу после Пасхи. Исхудала за неделю, сделалась желтой, а потом отошла с тихим вздохом. Боярина Оболенского Шуйские драли за бороду в Думе, а затем, заломив руки за спину, как простого холопа, выпихнули из палаты.

Ваня рыдал, хватал за полы Оболенского, пытался защитить князя от обидчиков. Андрей Шуйский, оглянувшись на государя, страхнул его ручонки и прорычал зло:

– Поди вон, щенок! Станем мы тебя слушать! Сейчас порты с тебя стяну да по заднице отхлестаю! Мать твоя блядина была: еще батюшки твоего покойного постель не остыла, а она уже в нее Оболенского затащила! Поделом ей божья кара. А ежели ты пицать будешь, так мы тебя вслед за ней отправим. Ишь какой заступник выискался! Князя Шуйские, они познатнее московских князей будут!

Иван слышал, как отчаянно сопротивлялся на лестницах бывший знатный воевода: трещали кафтаны, слышалась ругань, потом чей-то истошный голос стал поносить княгиню Елену, ему охотно отозвался чей-то веселый смех.

Он прильнул к окну и видел, как по Средней лестнице, с которой уносили государей на вечный покой в Архангельский собор, волочили боярина Оболенского, словно он уже мертвец. С погребальной лестницы неделю назад ушла и матушка.

Ваня размахнулся и что есть силы запустил державой в бояр. Держава, подобно наливному яблоку, блеснула золотым боком на солнце, пролетела через двор и весело запрыгала по ступеням вниз, прямо под ноги взбудораженных бояр.

Андрей Шуйский встрепенулся коршуном и помахал Ване кулачищами:

– Вернись, так уши тебе надеру!

Наклонился Шуйский и упрятал державу себе в карман.

– Хоть и государь, а сирота. А сироту каждый обидеть норовит, – услышал мальчик за спиной участливый голос.

Это был боярин Воронцов Федор. Он переступил порог и подошел к Ивану. Как падок сирота на доброе слово, вот уже и глаза налились соленой рекой.

– Ничего, ничего, государь, – прижимал боярин к себе восьмилетнего самодержца. – Воздастся еще обидчикам по заслугам. Отрыгнется им твоя боль кровушкой, когда подрастешь.

С того самого времени Иван Васильевич и Федор Воронцов частенько проводили время вместе. Боль от утраты матушки и Оболенского притуплялась любовью, на которую было способно только дитя: Иван привязался к своему новому другу.

Шуйские поначалу не слишком пристально наблюдали за неравной дружбой государя и холопа. Воронцов не был из знатных родов, которыми подпирался трон, а значит, не был и опасен. Это не князья Голицыны с их крепким замесом из многих княжеских кровей; не Шереметевы с их многочисленной родней; не Бельские, которые гордятся своим родством с государем и норовят оттеснить локтями Шуйских, и уж не хитроглазые Салтыковы с их татарским лукавством. Раньше Воронцовы все больше ходили в окольных, носили за государем шапку, а при великом князе Иване, деде нынешнего самодержца, так и вовсе встречниками¹⁸ служили. Только немногие прорывались из дальнего окружения великого князя в ближние – становились боярами. Пусть лучше Федор Воронцов будет вблизи государя, чем опасные Бельские. Эти сразу вспомнят прошлые опалы. Шуйские всегда считали, что способны разрушить этот неравный союз, но чем старше становился государь, тем опаснее выглядел Воронцов.

Иван Васильевич, позабыв про свой царственный чин, очумело носился по двору и гонял кошек. Один из котов – с серой короткой шерстью и вытарашенными от страха глазами – выпрыгнул в окно и, скребя когтями черепицу, ловко взобрался на крышу терема. Самодержец, разгоряченный погоней, тотчас последовал за котом, уверенно ступая по крутобоким скатам.

Поглазеть на потеху выбежали все дворовые. Даже стража, позабыв про обычную строгость и на время поправ долг, отступила от дверей, наблюдая за тем, как юный государь преследовал орущего кота.

Иван Васильевич, мало уступая коту в ловкости, подвижный и худенький, как былинка, уверенно карабкался по острому коньку, подбираясь к животному все ближе и ближе.

Снизу государя подбадривали:

– Ты, Ванюша, его ногой пни! Вон он, негодник, как спину изогнул, видать, прыгать не желает. Не ведает, злодей, что сам великий князь за ним на крышу полез!

Никто не остался равнодушным, все наблюдали за поединком: бабы, разинув рты, с коромыслами на плечах застыли посреди двора, мужики, уставя бороды в небо, почесывали затылки.

¹⁸ *Встречник* – придворный, встречающий гостей.

– Отшлепать бы сорванца, – вяло пробубнил стряпчий и, вспомнив, что это царственная особа, поправился, оглянувшись: – Отчаянный государь растет! Вон как смело карабкается.

Ваня носком сапога успешно спихнул кота и с чувством трудной, но успешно выполненной работы распрямился сладко. А высоко! Двор был виден как на ладони. На Ивановской площади пропасть народу. Дьяк в зеленом кафтане выкрикивал имена просителей, которые, снимав шапки, учтиво внимали говорившему. Ко дворцу стряпчие в горшках и ведрах несли всякую снедь – наступало время обеда.

А кот, мохнатым клубком перевернувшись в воздухе, уверенно опустился на лапы и стремглав пронесся мимо хохочущей толпы прямо в распахнутые хоромы.

Слезать с крыши государю не хотелось. Это не кресло в Думе, которое только на три ступени выше сидящих на лавках бояр, откуда видно дальние углы палат. С горбыля крыши всю Москву разглядеть можно.

Государь потянулся с чувством, показав своему народу через прореху на сорочке впалый живот, и смачно харкнул вниз. Сопля описала дугу, зацепилась за карниз и вяло закачалась жидкой сосулькой. «Не доплюнуть, видать, – пожалел самодержец. – Так и будут глазеть, пока не слезу».

Плеваться Ване скоро наскучило, и он стал спускаться. У самого края Иван оступись, больно стукнувшись коленом о подоконник, и, не оказавшись на крыше высокой перекладины, скатился бы вниз.

Андрей Шуйский показал ему кулак и изрек строго:

– Ванька, шалолай ты эдакий! Куда залез?! Башку ведь свернешь, царствие тогда без государя останется. Вот слезешь, высеку!

– Не положено меня розгами сечь, – важно заметил Иван Васильевич. – Чай, я не холоп какой-нибудь, а государь всея Руси!

За день Ваня притомился: бегал пострелом с дворовыми мальчишками на Москву-реку удить рыбу, потом под вечер вся ребятня, нацепив дьявольские хари, рыскала по закоулкам и пугала честной народ нечистой силой, а когда и это занятие наскучило – ватага сорванцов вернулась во дворец.

Стража едва попевала за юным государем, стояла поодаль и с улыбкой наблюдала за его бесовскими проказами. И обрадовалась несказанно, когда великий князь распустил свою «дружину» и отправился вечерять в терем.

Постельничие низко кланялись государю:

– Ждет тебя уже, государь наш, перина, намаялся ты, видать, за день.

Великий князь прошел в раскрытые двери Спальной избы, склонился привычно перед Поклонным крестом, попросил уберечь его от нечистой силы и прыгнул под полог на кровать. Иван хотел было позвать спальников, чтобы разули своего государя и сняли с него портки, но раздумал и, уже не противясь сну, погрузился в приятную дрему.

– Государь-батюшка, Ванюша, – вдруг услышал он девичий шепот.

Так частенько его называла матушка: та же интонация, то же нежное обращение «Ванюша». Это походило на сон, но голос прозвучал отчетливо и исходил откуда-то сверху. Самодержец открыл глаза и увидел над собой девичье лицо. Может, его молитвы не дошли до господ бога и к нему в Постельную комнату в женском обличье сумел проникнуть сам дьявол? Иначе как же баба могла пройти в великокняжеские покои, куда имеет доступ не каждый боярин?

– Тише, государь, а то услышат нас, – ласково просила женщина.

Иван Васильевич уловил в ее голосе материнские нотки. Так к нему обращалась государыня Елена, когда хотела успокоить. Но почему эта женщина здесь и что ей от него нужно?

– Что же ты, государь, даже постельничих не позвал? Неужно с тебя сорочку снять некому? – Анюта потянула с него рубашку. А он, послушный тихому напевному голосу, охотно

приподнял руки. И государево тело, которое не могли видеть даже ближние бояре, с любопытством разглядывала обычная баба, невесть каким путем попавшая к нему в Спальную избу.

Ваня ощутил необычное волнение. Может, потому, что ее голос напоминал матушкин? А может, оттого, что рядом с ним впервые находилась пригожая девка?

– Государь-батюшка, я давеча смотрела, как ты по крыше лазил, коленом больно ударился. Шибко ведь стукнулся, государь?

– Шибко, – безрадостно отвечал Ваня.

– Дай я тебе порты сниму и ушибленное место поцелую, вот тогда быстренько заживет. Мне так матушка в детстве делала, – ласковым шепотом пела девка.

Анюта распоясала государевы порты и осторожно стала стягивать с него штанины.

– Здесь, государь?

– Да.

– Ой, какой синяк! Как же тебе больно было!

Иван Васильевич помнил, как матушка тоже целовала ему синяки и шишки. Анюта милывала колено, потом другое.

– Ой, какая же у тебя кожа сладенькая, государь, вот девки тебя за это любить будут. А дух-то какой от тебя идет. Медовый! Да и сам ты пригож. Двенадцать годков только и стукнуло, а телом мужик совсем. Дай же я тебя как баба расцелую.

Иван Васильевич видел перед собой красивое девичье лицо, губы цвета спелых вишен.

– Красивая ты!

– Сейчас я, государь, только сорочку с себя сниму. – И, совсем не стыдясь слепящей наготы, стянула через голову рубашку. Анюта ухватила руки Ивана и положила их на свою грудь. – Ты крепче меня люби, Ваня, крепче! Ладонкой... Вот так, Ванюша, вот так. Гладь меня. Голубь ты мой ненаглядный... Какие же у тебя пальчики мягонькие... Вот здесь, государь, вот здесь. Как же мне хорошо!

Девка прижималась к великому князю всем телом, а у него не было сил, чтобы воспротивиться этой ласке, а тем более оттолкнуть ее. Все произошло быстро. Иван только вскрикнул от неожиданной и сильной радости, а потом затих под теплыми ладошками Анюты.

– Кто ты? – спросил восторженно государь.

– Анюта я... мастерица. А теперь мне идти надобно. Замаялся ты, поди, со мной, государь. С непривычки-то тяжело небось?

Анюта скользнула с кровати, надела на себя сорочку и, прежде чем выйти за порог, пообещала:

– Что же ты загрустил, государь? Я еще приду... ежели не прогонишь.

– Не прогоню, – уверенно пообещал самодержец.

Сон показался быстрым и был тяжел. Проснувшись, Ваня долго не мог понять: случилось это взаправду или над ним подшутило юношеское воображение.

Иван Васильевич окликнул постельничих, которые тотчас явились на крик самодержца и стали надевать на него сорочку.

«Знают ли о том, что бабу познал? – подумал двенадцатилетний государь и, всмотревшись в лица боярских детей, решил: – Как не знают? Знают! Вон морды какие плутоватые!»

Целый день Ваня думал об Анюте. Ладони не остыли от теплоты ее тела, глаза не забыли спелый цвет губ, и как можно было не вспоминать блаженство, не изведенное им ранее, когда тело, преодолевая земное бытие, устремляется в райские кущи. Сначала он хотел распорядиться, чтобы разыскали Анюту и привели к нему, но потом передумал. Обещала сама быть, так чего девку понапрасну тревожить.

С утра у государя было хорошее настроение. Дворовые отроки ватагой следовали за Иваном Васильевичем. Тот был неистощим на выдумки и проказы и сейчас придумал новую забаву

– швырять камнями в осетров, которых доставляли с Волги на Кормовой двор, где они плескались в огромном пруду, ожидая своей очереди на великокняжеский стол.

Осетры плавали величавыми громадинами, острыми плавниками царапали гладкую поверхность пруда, ковыряли носами-иглами мягкий ил, видно, сожалея о водных просторах, из которых они были вырваны несколько дней назад.

Отроки набрали булыжников и по команде Ивана, который руководил стрельбищем как опытный воевода, швыряли в осетров. Всякий раз невероятное веселье раздавалось в стане ребятни, когда камень достигал цели, а обиженная рыбина глубже зарывалась в зловонный ил. Стряпчие стояли здесь же, у пруда, и терпеливо дожидались окончания потехи, чтобы потом выудить раненого осетра и доставить его к государеву столу.

Это занятие скоро наскучило великому князю, и он вернулся к себе на двор. У Грановитой палаты в окружении караула стоял Андрей Шуйский, который, заметив государя, поспешил к нему навстречу.

– Как спалось, Иван Васильевич? – спросил боярин, и по его лукавому виду самодержец догадался, что тот ведаёт о его ночном приключении. Иван знал, что ни одна, даже самая малая новость не проходила мимо вездесущего боярина, а тут такое! Государь бабу впервые познал! Кто знает, может, это случилось и не без ведома Шуйского – иначе как же объяснить, что девка мимо караульничих сумела пробраться?

– А тебе что за дело? – вдруг огрызнулся самодержец. – Чай не постельничий, чтобы мне сорочку подавать. За государевыми лошадьми следи. Спрашивать буду!

Шуйский усмехнулся. Растёт государь, даже голос на конюшего посмел повысить. Видать, баба на него повлияла, не прошла ноченька для отрока бесследно – мужем себя почувствовал.

– Поначалу и я тоже ничего не понял. К этому делу попривыкнуть нужно, – сладко заговорил Андрей. – Анюта – баба невысокая, но уж больно крепкая! Ежели что не так, так мы тебе бабу подороднее сыщем. У государыни одна девка в постельничих ходила, Лизаветой кличут. Помнишь ведь. Так если пожелаешь, государь, она вечером к тебе в покои явится.

– Нет, – возразил Иван Васильевич, – пускай Анюта останется.

Государь ушел, а Шуйский еще долго скалил желтоватые зубы:

– Припекло, стало быть.

Анюта пришла, как и обещала, в ночь. Девка приоткрыла полог кровати, и Иван увидел, что она нагая.

– Сокол мой, вот я и пришла. Скажи, что заждался меня, – протянула она руки навстречу государю.

– Ждал я тебя.

Ваня подался навстречу, и его руки вцепились в податливую женскую плоть.

– Вот так, Ванюша, вот так, – шептала Анюта, – крепче меня обнимай, крепче!

Ваня грубовато шарил по ее телу, причиняя женщине боль. Анюта, закусив губы, терпела, только иногда размыкала губы, чтобы произнести единственное:

– Еще... Еще!

Ваня видел красивое лицо девахи, выставленный вверх подбородок и старался, как мог. Скоро Ванюша охладел к мальчишеским играм, и боярские дети бестолково шатались по двору, лишившись своего предводителя. Теперь государь уже не спихивал сапогами кошек с крыши теремов – все свое время он проводил в обществе Анюты, которая сумела сироте и мать заменить, и одновременно сделаться любовницей. Их частенько можно было видеть во дворе в сопровождении стражи, и Анюта, не пряча плутоватых глаз, игриво посматривала по сторонам.

Бояре, больше по привычке, приглашали самодержца в Думу, и Ваня, явно разочарованный тем, что придется сидеть не один час в окружении скучной компании и выслушивать долгие рассуждения о налогах и засухе, всегда находил вескую причину, чтобы улизнуть в свои покои, где его ждала жадная до ласк мастерица. Бояре никогда не настаивали, понимающе

улыбались и без опаски взирали на пустующее великокняжеское кресло, где место государя всея Руси занимали скипетр и яблоко.

Государь входит в силу

В хлопотах минул год.

Иван возмужал, раздался в плечах. Его движения приобрели степенность, походка сделалась по-государственному неторопливой, а в повороте головы появилась важность. Перемену отметили и бояре, речь их стала почтительнее – государь входил в силу.

Третий месяц пошел, как Ваня расстался с Анютой. Однажды он заметил, как мастерица жалась с караульщиком в одном из темных коридоров дворца. Видно, пощипывание отрока ей доставляло удовольствие, и она счастливо попискивала. Иван пошел прямо на этот голос. Караульщик, оторопевший от страха, даже позабыл броситься ему в ноги и только скороговоркой умолял:

– Прости, государь, прости, батюшка! Бес меня попутал! Сам не знаю, как и получилось! Я-то ее два раза только за титьки и тиснул!

– Прошел прочь! – взвизгнул великий князь.

– Слушаюсь, государь! – охотно устремился по коридору караульщик.

– Постой, холоп! – остановил самодержец отрока у самых дверей и, повернувшись к Анюте, которая все еще никак не могла вымолвить от страха и отчаяния даже слово, приказал: – Возьми эту девку и выставь вон с моего двора! Отныне дорога во дворец ей закрыта.

Караульщик грубо потянул девку за сарафан, приговаривая зло:

– Пошла вон! Государь велел!

Это грубое прикосновение вывело Анюту из оцепенения, она с отчаянным криком рванулась к Ивану, преодолевая сопротивление сильных рук караульщика:

– Государь, родимый! Прости меня, горемышную! Бес надо мной подсмеялся! Ой, господи, что же теперь со мной будет?!

Затрещал сарафан, с головы мастерицы слетел платок. И караульщик, видно напуганный бесовской силой, которая исходила из растрепанных кос, отпрянул в сторону.

Иван уже знал цену предательства. От него всегда уходили самые близкие, и Анюта была лишь одной из этих потерь.

– Гони ее прочь со двора!

Караульщик уже не церемонился: крепко намотав волосы на кулак, он потащил девку в выходу. Она цеплялась за поручни, двери и ни в какую не хотела уходить.

– Гони! Гони ее! – орал Иван голосом пса, науськивающего свору собак на загнанного зверя.

Детина, повинувшись одержимости самодержца, тащил Анюту по ступеням вниз.

Больше Иван ее не видел. Он легко привязывался и так же быстро расставался. Доброхоты потом говорили ему, что Анюта каждый день приходит ко дворцу, просит встречи с государем, но, однако, она не была допущена даже во двор, и стража с позором изгоняла ее прочь.

Андрей Шуйский, обеспокоенный одиночеством царя, приводил Ивану все новых «невест», среди которых были худые и дородные, бабы в цвету и почти девочки. Все они молча стягивали с себя сорочки, без слов ложились рядом с государем. Покорностью бабы походили одна на другую, хотя каждая из них шла своей судьбой, прежде чем разделить ложе с великим князем. Эти встречи для Ивана были мимолетными и незапоминающимися, как частый осенний дождь, и только одна из женщин сумела царапнуть государя по душе – это была повариха с Кормового двора Прасковья, дородная и мягкая баба, от которой пахло прокисшим молоком, с сильными руками и мягким убаюкивающим голосом.

Иван провел с ней шесть месяцев. Потешая свое любопытство, бояре иногда слегка приоткрывали дверь в комнату и зрели, как великий князь склонял голову на пухлые колени

поварихи. А когда живот у бабы округлился и всем стало ясно, что Прасковья ждет дитя, Шуйский выставил ее за ворота.

Андрей Шуйский за это время сумел сделаться полноправным господином, и почести ему оказывались не меньшие, чем самому московскому государю. Даже митрополит гнул перед ним шею. Единственный, кто не считался с его величием, был Федор Воронцов, который числился в любимцах у великого князя. Даже в Думе Воронцов норовил высказаться всегда первым, тем самым отодвигая назад самих Шуйских. Андрей, закусив губу, тихо проглатывал обиду и с терпеливостью охотника дожидался своего часа. Такой случай представился, когда на Монетном дворе сыскался вор, который заливал олово в серебро, а через стражу вывозил сплав со двора.

Братья Шуйские ворвались в приказ, обвинили во всем Воронцова, затем стали бить его по щекам, рвали волосы из его бороды и называли татем. Потом выволокли боярина на крыльцо и скинули со ступеней на руки страже.

– В темницу его! – орал Андрей. – Все серебро государское разворовал!

Окровавленного и в бесчувствии Воронцова караульщики поволокли с Монетного двора, и носки его сапог рисовали замысловатые линии на ссохшейся грязи. Чеканщики попрятались, чтобы не видеть позора боярина, стража разошлась. Караульщики, словно то был куль с хламом, а не любимый боярин государя, раскачали и бросили его на подводу, а потом мерин, понукаемый громогласными возницами, повез телегу в монастырскую тюрьму.

О бесчестии любимого боярина Иван Васильевич узнал часом позже. Он отыскал Шуйского, который огромными ладонями мял гибкую шею белого аргамака¹⁹ на дворе. Взволнованный до румянца на щеках, государь подбежал к боярину и принялся его умолять:

– Отпусти Воронцова, князь! Почто его под стражу взял?!

Конюший вприщур глянул на великого князя и так же безмятежно продолжал холить жеребца, который под доброй лаской хозяина совсем разомлел и скалил большие желтые зубы.

– Не следовало бы государю изменников жалеть. В темнице его место! Следить он должен за чеканщиками и резчиками, а если не смотрел, так, стало быть, им во всем и пособлял.

– Почто боярина Воронцова в кровь избил, как холопа?! – вдруг в голос заорал Иван Васильевич, подступая к конюшему еще на один шаг.

Тут Андрей Шуйский обратил внимание на то, что Ваня в этот год подтянулся на пять вершков и почти сравнялся с ним в росте. Но все же сей молодец пожиже прежних государей будет, хотя и статью вышел, и силушкой, видать, не обижен. Но нет в нем тех крепких дрожжей, на которых взошел его отец Василий. Тот голос никогда не повысит, а дрожь по спине такая идет, что и через неделю не забудешь. Да и дед его Иван Васильевич, сказывают, удалой государь был: Новгород и Тверь заставил на колена встать, татар с Руси прогнал. А этот себя в бабах всего растратит. В двенадцать лет первую познал, а к тринадцати так уже два десятка перебрал.

– Шел бы ты отсюда, государь, и не мешал бы мне – двор Конюшенный осмотреть надо! – И, уже грозно посмотрев на Ивана, прошептал: – А будешь не в свое дело встречать... так и самого тебя в темницу упрячу! А то и просто в спальне велю тебя придушить вместе с бабой твоей! Тело твое поганое сомнам на прокорм в Москву-реку брошу, так что и следа твоего не останется!

В самом углу двора один из караульчиков дразнил мохнатого пса: хватал его руками за морду, трепал за шерсть. Пес недовольно фыркал, отворачивался от надоедливого караульщика и беззлобно скалился. На Постельничем крыльце гудели стольники, ожидая появления ближних бояр.

Иван Васильевич оглянулся, словно просил о помощи, но каждый был занят своим делом: стража разгуливала по двору с пищалями на плечах, у самых ворот сотник прогонял юродивую

¹⁹ Аргамак – азиатская породистая верховая лошадь.

простоволосую девку, осмелившуюся забрести на великокняжеский двор, а по Благовещенской лестнице важно ступали дьяки.

– Вор! – вдруг закричал государь. На Постельничем крыльце умолк ропот, застыли на ступенях дьяки, даже пес удивленно повел ухом и черным глазом посмотрел в сторону великого князя. – Вор! – орал Иван. – Как ты посмел?! Смерти государевой захотел?! – Шуйский решил было отмахнуться от Ивана Васильевича, но тот крепко схватил его за рукав. – Взять его! В темницу его!

Подбежали псари, грубо ухватили князя за шиворот, затрещал кафтан. Шуйский яростно сопротивлялся, кричал:

– Подите прочь, холопы! На кого руку подняли?! Подите вон!

Кто-то из псарей наотмашь стукнул князя по лицу, и из разбитого носа густо потекла кровь.

– В темницу его! Под замок! – кричал Иван Васильевич. – На государя руку поднял, грозился мое тело рыбам скормить!

С Шуйского сорвали кафтан, горлатная шапка далеко отлетела в сторону, и нежный мех тотчас был втоптан множеством ног в грязную замерзшую лужицу. Псари, обозленные упрямством князя и какой-то его отчаянной силой, матерясь и чертыхаясь, волочили его по двору, а тот все грозил:

– Вот я вам, холопы!.. Вот я вам еще!.. Да побойтесь же бога! Запорю!

На князя посыпались удары, один из псарей ухватил Андрея за волосы и остервенело трепал его из стороны в сторону. Шуйский уже больше не сопротивлялся, он завалился на бок и молчаливо принимал удары. Громко лаял пес, готовый вцепиться в князя.

– Помер никак? – удивился один из псарей. Наклонившись к Шуйскому, стал рассматривать его лицо. – Глаза-то открыты и не дышит. Прости, государь, – бросился он перед Иваном на колени, – не желали мы того!

Великий князь неторопливо подошел к бездыханному телу.

– Хм, может, мне его сомам скормить, как он того для меня желал? – Иван не обращал внимания ни на стоявшего перед ним на коленях холопа, ни на его раскаяние. – Ладно, пускай себе лежит. А вы останьтесь здесь караулить его до вечера. – И, показав на пса, добавил: – Чтобы собаки не сожрали. Потом братьям покойного отдайте.

Андрей Шуйский лежал на великокняжеском дворе до самого вечера. Окольные и стряпчие, не задерживаясь у трупа, шли по своим делам, только иной раз бросали боязливый взгляд на окоченевшее тело. Еще утром Андрей Шуйский расхаживал по двору хозяином, одним своим видом внушая трепет, сейчас он валялся в спекшейся крови, и падающий снег ложился на его лицо белыми искрящимися кристалликами.

Ночью дворец опустел. На великокняжеский двор явился Иван Шуйский, постояв у тела брата, попросил сот-ника:

– Разрешил бы ты подводу на двор пропустить, Андрея положить надо.

– Не велено, – строго пробасил государев слуга. – Это тебе не холопий двор, чтобы всякую телегу сюда пускать.

Если бы еще вчера сотник осмелился такое произнести Ивану Шуйскому, так помер бы, забитый батогами, а сейчас еще и голос повысил. Холоп!

Иван Шуйский подозвал дворовых людей, и те осторожно, за руки и за ноги, поволокли тело со двора.

На следующий день Шуйские в Переднюю к государю не явились. Не было их позже и в Думе. Бояре промеж себя тихо переговаривались и поглядывали на край лавки, где еще вчера сидел князь Андрей Михайлович. Сейчас никто не смел занять его место, обитое красным бархатом, и все в ожидании посматривали на государя, как он соизволит распорядиться.

А когда Иван заговорил, бояре примолкли, слушая его неторопливую речь.

– Тут Шуйские с ябедой ко мне приходили, разобраться хотят в смерти князя Андрея. Псарей требуют наказать лютой смертью. – Иван выразительно посмотрел на хмурых бояр, а потом продолжал: – Только наказания никакого не будет. А Шуйский сам в том виноват, что государевых холопов обесчестить захотел! Псаря – государевы люди, мне их и наказывать! Так и пиши, дяк: «Государь повелел, а бояре приговорили, что в смерти князя Шуйского винить некого. Божья воля свершилась!» И еще... если Шуйские и завтра в Думу не придут, повелю их за волосы с Москвы повыбрасывать!

Шуйские явились к государю на следующий день в теремные покои ровно в срок; терпеливо дожидались в Передней, когда постельничие помогут надеть великому князю сорочку, запрясть порты, а потом вошли на его голос. Иван Шуйский наклонил голову ниже обычного, и государь увидел, что на самой макушке боярина пробивалась плешина. Шуйский-Скопин едва перешагнул порог, да так и остался стоять, не решаясь проходить дальше. В этой напускной покорности Шуйских, в молчании, которым никогда не отличались братья, он чувствовал их могучее сопротивление, которое скоро обещало перерасти в открытую вражду.

– Какие вести от польского короля? – полюбопытствовал вдруг Иван.

Год назад Думой в Польшу был отправлен посол, который намекал королю Сигизмунду, что в Московском государстве поспеваает великий князь, который не прочь бы иметь в женах его младшую дочь. Король источал радушие, обещал подумать, а на следующий день до посла дошли слова рассерженного владыки:

– Это за московского государя Ивана я должен отдать свою любимую дочь?! Как он посмел! Моя дочь чиста, как утренняя роса, и невинна, как весенний цветок! А Иван распутничает с двенадцати лет, и сейчас счет его девкам пошел уже на сотни! – И король, который и сам не слыл ханжой, закончил: – Я желаю только счастья своей дочери!

А три месяца назад Дума снарядила в Польшу новое посольство. На сей раз бояре выражались тверже – желают русской великой княгине видеть дочь польского короля. В грамоте было приписано: «Так повелось от Ярослава, что жены русским государям доставались из дальних стран и благочестивые, а потому просим тебя об том всем православным миром и кланяемся большим поклоном».

Послом был Иван Шуйский, но уже неделя прошла, как он прибыл из Польши, а с докладом в Думу по-прежнему не торопился, и сейчас государь пожелал узнать итоги переговоров.

– Пренебрегает король польский оказанной честью, великий князь, – отозвался Иван Шуйский, стараясь не смотреть в глаза юному правителю. Проглядели бояре Ивана Васильевича, все дитем его считали, а дите уже бояр успело под себя подмять. – Отказал послам.

– Что же он такого сказал тебе... Ивашка? – посмел государь обратиться к родовитому боярину, как к холопу дворовому.

Поперхнулся Иван Шуйский от такого обращения, но отвечал достойно:

– Прости, великий князь, но говорит он, что поган ты с малолетства и распутен, а дочка его младшенькая, что цветок полевой, в невинности растет и о бесстыдстве не ведает.

– Ишь ты, куда латинянин повернул! А сам-то польский король не монахом в молодости поживал, – обругался Иван Васильевич.

– Государь, почто ты нас так обидел? Брата нашего живота лишил? – Шуйский нашел в себе силы заговорить о главном. – За что на нас, слуг твоих верных, опалы свои кладешь, а ворогов на груди своей пригреваешь?

– Изменник князь Андрей был, – строго посмотрел на боярина Иван. – Обижал меня всяко, а сам государством правил, как хотел. То не я на него опалу напустил, то божья кара на нем остановилась. А на остальных Шуйских я гнева не держу, ступайте себе с миром.

Москва встретила смерть Андрея Шуйского тихо.

Бояре настороженно помалкивали и зло приглядывались к вернувшемуся из ссылки Федору Воронцову, который перестал снимать перед Рюриковичами шапку и проходил в покои

государя, как к себе в избу. Теперь он кичливо поглядывал на толпу стольников и дворян, топтавшихся на крыльце, всюду распорядился в Кремле и щедро раздавал подзатыльники нерадивым слугам. Федор уверенно опустил свой тощий зад на место Андрея Шуйского.

Воронцов сполна отыгрался за нанесенные обиды: Иван Кубенский, посмеявшийся драть Федора за волосы, сел в темницу; Афанасий Батурлин, говоривший ему невежливые слова, лишился языка; окольный Михаил Борода, плюнувший вслед Воронцову, был обезглавлен.

Федор не брезговал являться в темницы и, разглядывая исхудавшие лица своих обидчиков, затаенно вопрошал:

– Ну каково же тебе на дыбе, душа моя Петр Андреевич? Не сильно ли плечики тянет? А может быть, ремешки подтянуть, чтобы крепче было? Это мы сейчас быстро устроим. Эй, палач! Чего застыл?! За работу живехонько! Не видишь, что ли, Петр Андреевич совсем замерз, согреться ему надобно. Угости его еще пятком плетей, пусть кровушка его по жилочкам разбежится!

Палач, готовый услужить любимцу государя, суетливо сновал по клетки, замачивал хвосты плетей в едкой соли, раздувал уголья и, когда приготовления были закончены, не без удовольствия обрушивал на голую спину тяжелый удар.

– А-а-а-а!

Каждый удар вырезал со спины опального боярина полоску кожи.

Петр Андреевич, стольничий государя, вчерашний его советчик, корчился от боли и благодарил Воронцова за оказанную честь:

– Спасибо тебе, Федор... Ой, спасибо! Век не забыть мне твое угощение.

– Только прожить ли тебе век, голубчик? Эй, палач, подложи-ка Петру Андреевичу угольков под самые пяточки. Вот так... Вот, вот – пускай пожарится.

Глинские ревниво наблюдали за тем, как входит в силу боярин Воронцов. С раздражением следили за каждым его шагом, ожидая, что тот непременно споткнется. Но Федор уверенно расхаживал по великокняжескому двору, смело распорядился караульщиками самого Ивана Васильевича. Глинские сторонились, пропуская его вперед, и это тихое отступление походило на западню для любимца государя.

Дядя молодого самодержца шептал Ивану в оба уха:

– Доверчивый ты, Ванюша, точно такой же, как и твой батюшка. Покойный Василий Иванович тоже все боярам своим доверял. А тем только дай слабину, как они тотчас прыг на шею и ноги свесят!

– К чему это ты? – спрашивал великий князь, поглядывая на Глинского.

– А вот к чему, Ваня. Андрея Шуйского ты от себя убрал и правильно сделал! – Заметив, что молодой государь насупился, Глинский продолжал: – Только вот зачем ты опять к себе боярина приблизил? Федька Воронцов хозяином по двору шастает. И нас, родственников твоих, совсем не чтит. Обуздать тебе, Ванюша, его нужно. Хомут на него крепкий накинь, как на кобылу тягловую, пускай свой воз везет, а в государевы сани не садится! Холоп что собака: место свое должен знать! Вот так, Иван Васильевич!

Самодержец призадумался. Дядька зря не скажет. Если и верить кому, так это родственникам, что после матушки остались.

Иван и сам подмечал, что Федор Воронцов уже не тот прежний слуга – покладистый и покорный, каким знавал он его в детстве. Сейчас боярин полон спеси и стремится решать государские дела в обход самого великого князя. Даже самодержавную печать осмелился отобрать у печатника и смеха ради ставил изображение Георгия Победоносца на лбы московских дворян.

Великий князь крутанул перстнем, и изумруд цвета кошачьего глаза брызнул веселым светом на крепкие юношеские ладони. Сегодня днем эти ладони тискали в подклети зазевавшуюся девку: та, как увидела государя, так и обмерла с перепугу. А когда пальцы Ивана уве-

ренно скользнули молодой под сарафан и быстренько отыскивали упругие соски, она уронила ведро со щами, обливая жирным наваром новые порты государя.

Поиграв перстнем, Иван сцепил крепко пальцы и буркнул неохотно:

– Сам разберусь. Если не по нраву придется, так прогону со двора. А сейчас пускай куражится.

Однако слова, сказанные Глинским, глубоко проникли и не желали отпустить весь остаток дня.

Иван повзрослел, и потехи его стали куда серьезнее, чем раньше. Еще два года назад он пострельцом бегал по двору в драной рубахе с великокняжескими бармами на плечах, без причины задирали холопских ребятишек и таскал за хвосты котом. В то время боярам приходилось проявлять диковинную изобретательность и смекалку, чтобы заманить юного самодержца на скучное сидение в Думе. Вельможи не скупилась на посулы: обещали сладких кренделей и мягких пряников, яркую рубаху и новые порты, и, когда наконец самодержца удавалось завлечь, посыльный боярин возвращался на сидение, торжествуя:

– Уговорил, сейчас явится. На самом тереме государь сидел и сапогом кота вниз спихивал. Кот орет истошно, прыгать не желает, хоть и тварь безмозглая, а понимает, что разбиться может.

А другой раз посланный боярин приходил с иной вестью:

– Не желает государь идти в Думу. На колокольне петухом орет. Я как начал звать, так он меня яблоками гнилыми стал обкидывать, а отроки дворовые ему в том помогать стали. Выпороть бы поганца, – произносил он почти мечтательно.

Теперь все изменилось.

Государь не бегаёт пострелом по двору, приосанился, в руках вместо камней сжимает трость. Бояре после случая с покойным Андреем Шуйским стали почтительнее, и уже никто не грозит оборвать великому князю уши и отхлестать хворостиной. Иван входил в рост и окружил себя боярскими детьми, которые тотчас спешили выполнить любую волю малолетнего государя. А забавам Ивана Васильевича не было конца: он с гиканьем разъезжал на резвом рысаке по узким московским улочкам в сопровождении многочисленной свиты и спешил огреть плетью нерадивого, посмеявшегося перебежать дорогу; врвался на многолюдные базары, и широкогрудый жеребец подминал под себя мужиков и баб. Московиты, сняв шапки, бессловесно сносили побои.

Встречи с Иваном опасались, даже юродивые боязливо посматривали в его сторону. Прочие, еще издали услышав грохот цепей, спешили забежать в подворотню.

Сама Москва представлялась Ивану большим двором, где одну улицу занимали мясники, разделяющие говядину, предназначенную для государева стола; другую – огородники, доставляющие в Кремль лук и репу; третью – сыромятники, обрабатывающие кожу для тулупов бояр и дворян. И потому, не спросясь, он набирал с базара всякой снеди, щедро делиась добычей со своим многочисленным окружением.

Московский народ отходчив. Едва снесли на погост мужиков и баб, помятых на базаре государевыми жеребцами, и горе уже кажется не таким тяжким, и горожане, взглядываясь в крепкую фигуру юного самодержца, говорили:

– Ладный государь растет! Вся трапеза впрок пошла, вон как вымахал! Видать, добрый воин выйдет. Отец-то его покойный, Василий Иванович, поплоше был, едва до плеча государю дотянул бы. А Иван Васильевич богатырь!

Дьяк Захаров раскрывает заговор

Уже с малолетства Иван Васильевич пристрастился к охотничьим забавам: любил он загонять собаками оленей, ходил на лис, выслеживал зайцев, но особенно нравилась ему соколиная охота. С упоением наблюдал Иван, когда сокол, лишившись кlobучка, взлетал с кожаной рукавицы ввысь и, забравшись на самый верх поднебесья, скатывался на перепуганную стайку уток и рвал, истязал нежное мягкое мясо.

Под Коломной у государя был терем, построенный еще отцом, который тоже был охоч до соколиных забав, сюда частенько приезжал и нынешний самодержец.

Иван Васильевич добирался к терему через бор. Карета скрипела. Тяжелые цепи, привязанные к самому днищу, царапали наезженную дорогу, оставляя неровные глубокие шрамы. Железо разгребало колючую хвою, рвало узловатые корневища и ругалось пронзительным скрежетом. Следом за каретой ехали стольники и кравчие²⁰, которые, не жалея ладоней, лупили в барабаны, звенели бубенцами, а впереди, расторопно погоняя лошадок, спешили дворяне, громко горланя:

– Государь едет! Государь едет! Шапки долой!

Можно было подумать, что карета колесила не через хвойный безмолвный лес, а пробиралась через площадь, запруженную народом.

Боярские дети орали все неистовее:

– Шапки долой! – И эхо, охотно подхватывая шальные крики, вторило: «Долой! Ой! Ой! Шапки долой! Государь всяя Руси едет, Иван Васильевич! Вич! Вич!»

Карета передвигалась неторопливо, нехотя взбиралась на мохнатые кочки, замирала на самом верху, словно о чем-то раздумывала, а потом сбегала вниз. Боярские дети вопили не просто так – далеко впереди на тропе показалась небольшая группа всадников. По кафтанам – не из бедных, и шапки с голов рвать не спешат. Обождали, когда поравняются с передовым отрядом, а уже затем чинно обнажили нечесанные космы.

– Кто такие? – строго спросил сотник.

Он спрашивал больше для порядка, признавая в незнакомцах новгородцев: только они смели носить чужеземные платья.

– Новгородцы мы, – отвечал за всех мужик лет сорока, видно, он был за старшего. Борода брита, а усищи в обе стороны топорщатся непокорно. – К государю мы едем, с жалобой на своего наместника Ермакова.

– К государю едете, а с собой пищали везете! – упрекнул сотник.

Оружие у новгородцев красивое – немецкое, такого даже у караульничих нет.

– Как же без пищалей ехать, когда по всем лесам тати шастают? – искренне подивился новгородец. – Ты бы нас к государю представил, правду хотим про наместника сказать. Совсем житья не стало от лиходея! Пошлину с товаров непомерную берет да себе все в карман складывает, купцов заморских совсем отогнал, – жаловался мужик.

– Не велено! Государь на охоту выехал. Прочь подите! – теснил жалобщика сотник.

– А ты жеребчиком-то на меня не наезжай, придержи поводья! – серчал мужик. – По годам я тебя старше и по чину знатнее буду. Скажи государю, что с делом мы идем. Вот здесь все про наместника писано! – тряс бумагой новгородец.

– Хорошо, – вдруг согласился сотник, – давай челобитную, передам великому князю.

И, пнув в бока жеребцу шпорами, заглянул в оконце кареты:

– Государь, тут к тебе новгородцы с ябедой пришли на своего наместника, пред твоими очами предстать хотят.

²⁰ Кравчий – придворный, ответственный за трапезу государя.

– Почему они с пищальми? Гони их с глаз долой! – заволновался Иван Васильевич.
– Эй, новгородцы, прочь подите! Государь вас видеть не желает!
– А ты на нас глотку не распускай. Мы – люди вольные! Великий Новгород всегда таким был, и к холопству мы не привыкли, – натянул на уши шапку мужик.
– Караул, отобрать у новгородцев пищали!
– Ты за пищаль-то не хватайся, это тебе не кремлевский двор, чтобы без оружия шастать! Здесь лес, и закон здесь другой! А пищали мы против татей держим!
– Это лес Ивана Васильевича, а стало быть, ты у него на дворе, – возражал сотник. – Давай пищали!
– А ты отними попробуй! – вдруг взбунтовался новгородец, и усы его негодуяще вздернулись.

Сотник увидел нацеленное на него дуло, разглядел у самого выхода черную марковую сажу и засопел:

– Что это... бунт?! – Он изловчился, дернул на себя ствол пищали, и мужик, теряя равновесие, повалился с седла.

Прозвучавший выстрел заставил караульщиков остановиться. Оцепенев, они наблюдали за тем, как сотник, ухватившись за живот, пытался остаться в седле, но невидимая сила настойчиво и крепко увлекала его к земле, и он, уже не в силах ей противиться, рухнул.

– Новгородцы сотника подстрелили! – встрепенулась стража. – Убили! Бей их, отроки! Хватай татей! Спасай государя! Вяжи лихоимцев!

Новгородцы похватили мечи, а громкий голос усатого детины все более распялял страсть:

– Это что же делается? Мы к государю с челобитной, а нас за шиворот да и за ворота, как холопов последних! Не привыкли новгородцы к такому лихоимству! К государю пробивайтесь, к государю! Не может он от людей своих отступиться!

Раздался выстрел, затем еще один, а уж потом треск слышался отовсюду. Казалось, что гигантский медведь пробирается через лес и сучья трещат под его ногами. Караульщики падали, сраженные пулями, а новгородец все вопил:

– К государю пробирайтесь! Бей строптивцев! Пусть он лихоимцев накажет!

Иван вслушивался в приближающийся шум, и чудилось ему, как чей-то разбойный голос взывал:

– К государю! Бей!.. Государя бей!

– Погоняй! Погоняй! – закричал Иван на возничего. – Быстрее! Ох, изменники! Ох, изменники! – сокрушался молодой государь.

Карета развернулась и покатила в обратную дорогу, оставляя позади сечу.

Иван не разговаривал до самой Коломны, заставляя возницу шибче подгонять разгоряченных лошадей. А когда показались серые булыжники крепостных стен, Иван приказал сидящему рядом окольному:

– Зови воеводу!

Воевода Пронский, отпущенный в Коломну на кормление государем год назад, выбежал навстречу великому князю и бросился в ноги:

– Что же это ты, Иван Васильевич, государь наш любезный! Гонца послать нужно было, уж мы бы тебя встретили по чести, хлеб да соль с полотенчиком. В колокола бы ударили!

– На дыбу захотел?! – орал Иван. – Это по твоей дороге тати гуляют, едва живота не лишили!

– Да что же ты, батюшка?! Как же это?! – лепетал испуганный воевода. Страшно было умирать – едва разжился, дочек замуж еще не определил.

– А вот так! Стрельбу устроили из пищалей, изловить меня хотели, насилиу спасся! Вели в лес дружину послать, пускай мятежников изловят!

Запоздало ударил набатный колокол, встречая Ивана Васильевича, а отряд дружинников выехал ловить новгородцев-изменников.

Через несколько дней на монастырский двор отроки из коломенской дружины приволокли несколько мужиков. В них трудно было узнать горделивых новгородцев в иноземных платьях. Порты на мужиках рваные, все как один без шапок, бороды изодраны, а лица в крови.

Иван Васильевич обходил нестройный ряд новгородцев, те, приветствуя государя, сгибались в поклоне, цепи на их руках тонко позванивали, и эта печальная музыка напоминала Ивану его недавнее бегство. Государь пытался среди пойманных отыскать того самого мужика с длинными торчащими усами, но его не было.

– Где остальные? – зло поинтересовался Иван Васильевич.

– В лес ушли, государь, – отвечал думный дьяк Василий Захаров, приставленный к новгородцам. – Мы когда подъехали, так их уже и не было. Этим насилу сыскали. Ничего, государь, еще отыщутся! В Новгород дружину пошлем, пусть изменников там отловят.

– Так вот что, дьяк, выпытай у новгородцев, по чьей науке пищальники надумали супротив государя подняться? Если выпытаешь и до правды дознаешься, окольников тебе сделаю! – пообещал шестнадцатилетний государь. – По всему видать, здесь без ближних людей не обошлось. – И, повернувшись к стоявшим рядом рындам²¹, сказал: – Гоните всех прочь, кто меня видеть пожелает, – трапезничать я пошел.

Василий Захаров запоздало поблагодарил за честь, а Иван Васильевич уже не слышал, шел быстро, и рослые рынды едва за ним поспевали.

Новгородцев сволокли в подвал монастыря и одного за другим водили на сыск. Палач, широкий мужик в красной рубахе навывпуск, с нетерпением поигрывал тяжелым кнутом.

– Стало быть, по своей охоте на государя выступали? – спрашивал Василий Захаров.

Он оглянулся, подыскивая, куда бы присесть, а верткий подьячий с пером за правым ухом уже подставлял табурет.

– Не мыслили мы зла супротив государя, – отвечал за всех мужик с окладной, до самого пояса бородой. – Мы с жалобой на своего посадника шли.

– Выходит, в государя из пищалей палили для того, чтобы грамоту ему дать? – не унимался дьяк. – И холопа его убили тоже для того?!

– Не палили мы в государя, – отвечал новгородец, понимая, что уже не убедить в своей правоте ни дьяка, ни уж тем более самого государя. – Караульщик государя сам на нас с ослопом²² полез. Вот ружье без надобности и пальнуло.

Лицо Василия скривилось в ухмылке.

– Выходит, само пальнуло. Эй, мастеровой, привяжи молодца к бревну и согрей его огоньком.

Новгородца за руки и за ноги растянули на бревне, потом подпалили под ним поленья, и палач, орудуя бревном, как вертелом, стал вращать его, подставляя голые бока под огонь. Мужик извивался, орал истошно, выпрашивая пощаду, а палач терпеливо выполнял волю дьяка. Наконец Василий Захаров дал знак откатить бревно.

– Ну что?! Будешь говорить?! Кто из московских бояр надоумил тебя против государя собираться?! – И неожиданно выпалил: – Может, это был Федор Воронцов?

– Он самый, господин, он самый! Все как есть правда, – обрадовался новгородец передышке. – Боярин Федька Воронцов нас против государя наставлял.

– Кто еще с ним был?

²¹ *Рында* – телохранитель.

²² *Ослоп* – окованная дубина.

– Еще кто? – уставился мужик на дьяка. Лоб у него собрался в морщины, было видно, что он мучительно вспоминал. – Еще братец его, Васька Воронцов! Они хотели живота государя лишить, чтобы на царствии самим быть.

– Ивану Васильевичу об этом сам можешь поведать?

– Скажу! Все как есть скажу. Ежели что не так буду говорить, так ты уж меня, дьяк, поправь.

– Поправлю, милый, поправлю, – обещал Василий Захаров, думая о своем. – Дать новгородцу вина и накормить как следует, пускай отдышится.

Уже месяц шел сыск.

Василий сутками не выходил из темницы и неустанно чинил все новые допросы. На очереди был Федор Воронцов, боярин Монетного приказа. Избитый, раздетый донага, он выплевывал кровь из опухшего рта и укорял:

– Как же ты, Василий, супротив меня пошел? Ведь из дерьма же тебя вытащил, дьяком сделал. И не будь моей милости, помирать бы тебе пастухом на Скотном дворе. Не обидно было бы, ежели по правде страдал, а то ведь по кривде и по наговору.

– По наговору, говоришь, боярин? – усмехнулся дьяк. – Эй, караульщик, приведи новгородца. Пусть он скажет, как было!

Караульщик скоро вернулся и втолкнул в подклеть человека.

– Говори, как дело было! – приказал Захаров.

– Крест целую на том, что всю правду скажу без обману, – переступил с ноги на ногу новгородец, и железо на его ногах угрожающе запело. – Боярин Федька Воронцов умыслил зло супротив государя нашего Ивана Васильевича. Повелел мне с пригородов собрать татей и, когда государь поедет на охоту под Коломну, лишить его живота.

– Чего он обещал тебе за это?

– Обещал пятьдесят рублей дать и при особе своей держать для душегубства.

– Ах ты, ирод! Ах ты, супостат! – поперхнулся злобой боярин. – И как только твой язык не отсох от такой поганой лжи! Государю я служил честно и потому добра не нажил, хотя я и боярин Монетного двора!

– Об этом мы тоже поговорим в свое время. Караульщик, скажи, чтобы привели чеканщика Силантия.

Привели Силантия. Детина сильно усох. Щеки ввалились, и порты едва держались на его истощавшем теле. – Правду будешь говорить, чеканщик?

– Все как есть скажу, господин, – пообещал, как выдохнул, Силантий.

– Сколько серебра унес со двора?

– Десять горшков.

– Как же ты так воровал, что и стража в безвестности осталась? Ведь донага раздевался!

– Боярин Воронцов мне наказывал воровать, вот я ему и пособлял. Один раз серебро в карете провозил, другой раз он под кафтаном прятал. Караульщики-то его не обыскивают.

– Зачем же ему серебро нужно было?

Силантий чуть помедлил, а потом все так же сдержанно вещал:

– Чеканы у него в тереме есть, хотел, чтобы монеты ему делали. Он меня подговорил и еще двух мастеровых. А если, говорит, не согласитесь, тогда до смерти запорю. Некуда нам деться было, вот мы и согласились.

– Много монет начеканили?

– Да, почитай, не одну сотню рублей! Разве такую прорву сосчитаешь. Только боярин Федька Воронцов все себе забирал, с нами делиться не желал. Задарма работали. – Чего еще велел Федька Воронцов?

– Вместо серебра иной раз велел олово добавлять. Оно тяжелее будет, а по цвету едино. Вот потому и не разберешь!

– Холоп ты сучий! Как же ты хозяина своего бесчестишь! Что же это делается такое, неужто я из-за воров страдать должен! – взвился Воронцов.

В подклети было светло. В огромных горшках плавился воск, и тонкая черная струйка копоти поднималась к своду, рисуя на нем черный же неровный круг. Иногда эта ниточка искривлялась от неровного дыхания Силантия, который продолжал рассказывать:

– Он-то меня сразу приметил, увидел, какие я чеканы делаю. Ведь я и резать могу, да так, что одна монета близнецом другой будет. И края у меня ровные, такие, что и стачивать не нужно.

Подьячий, стараясь не пропустить ни слова, быстро писал на бумаге донос Силантия. К перу без конца цеплялся волос; подьячий тщательно отирал его кончик о рукав кафтана и усердно принимался за писание.

– Что еще тебе наказывал боярин Монетного двора?

– Говорил, чтобы я монеты потоньше делал, а с вырученного серебра для его казны чеканил.

Василий Захаров посмотрел на Воронцова. Двое караульничих стояли у того за плечами, чтобы по желанию дьяка повесить боярина на дыбу или вытолкать взашей.

– Что же ты на это скажешь, Федор Семенович? Не крал серебра?

– Разве мог я знать, что когда брал тебя, супостата, на Монетный двор, то могилу для себя рыл?

– Вот оно как ты поворачиваешь? Думал, если берешь на государеву службу, то холопом тебе верным буду? Только не тебе я служу, а государю! А теперь отвечай, холоп, правду ли говорит чеканщик?

– Если и был в чем грех, так в том, что утаил малость от казны серебра. Может, и начеканил я с десяток рублей, но не более! Но чтобы злой умысел какой против государя Ивана Васильевича держать... Не было этого! Новгородцы и вправду на своего наместника с жалобой шли. Ты и сам, Василий, в том убедиться можешь. Нашел бы тех, кто под Коломной был!

– Только не поверит тебе больше государь. Если ты его серебро воровал, значит, и против него измену мог иметь. Знаешь ли ты, что делают с фальшивомонетчиками?

– Как же мне не знать? Сколько раз по моему наказу татям в горло олово лили!

– Хм... вот и тебе скоро зальют.

– Помилуй меня, господи, спаси от срама, не дай на поругание мою душу!

– Есть спасение для тебя, Федор Семенович, только вот не знаю, согласишься ли ты на это. Уж больно горд!

– Говори же, дьяк, в чем мое спасение?!

– Душу твою сохранить не обещаю, сам спасешься. Сходишь в церковь, помолишься малость. В казну монастырскую дар большой сделаешь, а может, на свои деньги и церквушку каменную поставишь. Но вот тело твое... попробую спасти от позора.

– Сделай Христа ради! Сыном разлюбезным для меня будешь! Век на тебя молиться стану и еще деткам своим накажу, чтобы почитали тебя пуще отца родного. Только вырви меня отсюда! Что делать нужно, говори, Василий.

– Государю ты вот что скажешь, когда он к тебе в темницу явится. – Дьяк поднялся с лавки и зашептал в самое ухо боярину: – Будто бы умысел против него имел, хотел власти государя лишить.

– Окстись! – отшатнулся боярин. – Гнева ты не боишься божьего! Не желал я этого. Я у него в любимцах ходил! Он меня лучше Глинских почитал. Мне ли желать, чтобы Ванюша власти лишился, я бы тогда сам без головы остался: одни недруги вокруг.

– Я свое слово молвил, – развел руками дьяк, – если хочешь жить, скажешь! Подьячий, пойдем отсюда, тяжек для меня дух темницы; и еще Федор Семенович подумать должен, не будем ему мешать.

Иван Васильевич появился в темницу вечером. Двое рынд освещали дорогу и заботливо опекали государя:

– Здесь, Иван Васильевич, поосторожнее будь, ступенька тут хиленькая. Вот черти эти тюремщики, никак заделать не могут. Не споткнись, батюшка, сподобься. А здесь, государь, склизко, видать, налито что-то. А может быть, и кровь.

Иван Васильевич весело перепрыгивал через две ступени, мало обращая внимание на советы рынд, и только иной раз покрикивал на охрану:

– Мух харей не хватай! Свети государю под ноги, а то башку расшибу.

Спустились в подвал. Зноя как не бывало. От серых камней тянуло холодом. В самом углу, на затхлои соломе, свернувшись в калач, лежал человек. Василий Захаров вышел из-за спины государя и, осветив фонарем угол, скомандовал:

– Вставай, Федька сын Семенов, государь к тебе в гости пожаловал!

Калач медленно стал разворачиваться, и Иван Васильевич увидел боярина Воронцова.

Через дверь сквозило, и пламя свечи слегка изогнулось, словно и оно решило поклониться государю. Воронцов уже совсем не походил на того лощеного боярина, каким Иван знал его еще неделю назад. Перед ним был исхудавший и изнуренный голодом человек. Кафтан и тот драный, а через прореху на груди видна розовая сорочка.

– Государь Иван Васильевич, – сделал шаг Федор Воронцов навстречу великому князю, но расторопные рынды бердышами заслонили путь.

– Куда прешь?! Не велено!

Было время, когда Воронцов запросто трепал Ивана по плечу, а рынды милостиво топтались рядом; сейчас же боярин находился по другую сторону бердышей.

Но, видать, дело не так плохо, если сам великий князь к нему в темницу спустился. Федор Семенович успел разглядеть в глазах государя смятение. «Не забыл, бестия, своего боярина!»

– Сказывай, холоп, какую неправду против государя учинить хотел! – повелел Василий Захаров. – Эй, подьячий, пиши за боярином. Сейчас Федор Семенович исповедоваться начнет. – И посмотрел на Федора тем взглядом, который напоминал: «Не забыл ли ты, боярин, о нашем разговоре? Смотри же! Иначе башка с плеч полетит!»

Подьячий, тот же самый худенький старичок, что бывал на сече, степенно разгладил бумагу пальцами, приготовился писать. Сейчас он походил на огромную черную ворону с длинной и верткой шеей, даже кафтан его, неровно отглаженный, топорщился, напоминая взъерошенные перья. Ворона повернула голову, прислушалась к тому, что глаголет великий князь. Руки у подьячего слегка расставлены, и широкие рукава кажутся крыльями. Вот сейчас осерчает государь, и ворона воспарит в испуге к закопченному потолку.

Но шестнадцатилетний самодержец заговорил спокойно:

– Что сказать хотел, Федька? Слышал я о том, что ты убить меня замыслил?

– Государь, смилуйся, – припал боярин головой к цепям. – Если и был на мне грех, так это такой, что опекал я тебя чрезмерно.

– Андрей Шуйский тоже все опекал и тем самым на царствие взойти хотел. Он-то мог! Ну а как тебе на троне сидеть, если ты рода невеликого?

– И от безродных смута немалая идет, – со значением заметил Василий Захаров, слегка двинувшись вперед, и сразу заслонил великого князя от опального боярина. А взгляд дьяка требовал: «Если жить хочешь, говори то, о чем условились». – Сознавайся государю, разве не хотел ты своим худородством даровитых бояр оттеснить и самому при государе царствием заправлять?

– Если и подумал о том ненароком, то только потому, что меня бес смутил. Я этого беса в молитвах гнал. Смирнен я теперь и тих, прости меня, государь, – сдался боярин.

– Отвечай государю, тать, кто с тобой заедино был?

– От Шуйских все идет! Не могут они простить государю того, что повелел он псарям Андрея на своем дворе порешить.

– Так... Кто еще с Шуйским в сговоре был, Федор Семенович? Братца своего старшего почему не вспоминаешь? С тобой Василий был?

– И брат Василий со мной был.

– Ты при государе в конюшие метил, а брату своему какой приказ хотел отдать?

– Монетный двор хотел передать Василию... Еще князь Кубенский заединщик.

Иван нахмурился: вот кто в родовитости с самим великим князем может потягаться.

Подьячий быстро царапал пером по серой бумаге.

– Стало быть, князь Кубенский еще? – искренне удивился дьяк Захаров – про то не договаривались.

– Князь Кубенский, – охотно соглашался Воронцов. – Так и говорил, мерзавец: мы-де, Кубенские, сами из Рюриковичей, и еще неизвестно, кто из наших родов на царствии московском сидеть должен. Князь все Шуйским поддакивал, которые говорят, что на Москве младшие братья остались.

– Вот, стало быть, как, – только и нашелся что ответить государь. – Верно мне Глинские говорили, что аспида я подле себя держу, а он того и гляди меня в рыло цапнет. Вот что я тебе скажу, Федька: холопом ты был княжеским, а помрешь вором лукавым! На плаху его! – приговорил государь и, запахнув полы кафтана, поспешил к выходу.

Пламя свечи задрожало от господского гнева, а Федор Воронцов запоздало бросился вослед государю:

– Батюшка, ведь не по злобе я! Надоумили! Ох охальник ты, Васька, сначала чести лишил, а теперь государь жизнь отберет!

– Поделом тебе, старой вороне! – огрызнулся дьяк и пошел следом за Иваном Васильевичем.

Казнь

О предстоящей казни москвиты узнали в тот же день.

Глашатай, малый лет двадцати, с Лобного места читал государев указ. Говорил громко и задиристо, так что базарная площадь, словно девка, замороженная гуляньем, слушала его сильный и шальной голос.

– ...Потому государь Иван Васильевич повелел, а бояре приговорили лишить живота вора Федьку Воронцова, окольного Ваську Воронцова, изменника князя Кубенского Ивашку... через усекновение головы... И еще государь сказал, что не даст в обиду холопов двора своего, только ему их и судить. А бояр-изменников и впредь наказывать станет. А кто из холопов достоин, так миловать по-царски будет!

Глашатай оторвал лицо от свитка, щипнул пальцами за кончик хиленькой бороденки и сошел вниз.

С приготовлениями затягивать не стали: уже утром следующего дня плотники соорудили высокий помост. Всюду валялась свежая стружка, в воздухе едко пахло смолой, а караульщики вытащили на самый верх дубовую колоду.

После полуденной молитвы к месту казни стали подходить ротозей-мужики. С любопытством поглядывая на помост, громоздившийся среди площади, сердобольно печалились:

– Хоть и бояре, а жаль.

– Государь зазря сердиться не станет, видать, измену крепкую разглядел, – возражали другие. – По вине и плата!

Бабы не подходили к помосту, а если шли мимо, то озирались с опаской. Не положено женам казни лицезреть. Караульщики зорко наблюдали за тем, чтобы в толпе не замешались и любопытствующие отроки. Вот кому до всего есть дело!

В четыре часа забили колокола, и с первым звоном с государева двора вывели колодников. Федора Воронцова караульщики вели первым, он выделялся среди прочих саженым ростом и невероятной худобой. Следом шел Василий, брат, а уже затем князь Кубенский.

Узники шли неторопливо, а тяжелые колоды, шурша под ногами, волочились следом. Руки были стянуты бечевой, и караульщик, следовавший впереди, то и дело подергивал за свободный конец, подгоняя колодников.

Следом выехал великий князь. Под ним был вороной жеребец, сам в позолоченном кафтане, по обе стороны, в два ряда, охрана государя. Вот кто-то из мужиков осмелился подойти ближе, и рында с силой поддел его носком сапога. Мужик только крикнул и под хохот толпы опустился на дорогу.

Федора Воронцова подвели к помосту. Остановился боярин, разглядывая грозное сооружение, осмотрелся, а караульщик уже тянет за бечеву, подгоняет:

– Чего застыл? Наверх ступай! Государь дожидаться не любит.

– Стой! – услышал караульщик голос великого князя.

Федор Воронцов обернулся с надеждой: одумался Иван Васильевич, простил своего холопа!

Под ноги государю рынды поставили скамеечку, и Иван, отбросив поводья, сошел вниз. Доски запищали, прося пощады, а самодержец, увлекая за собой растерянную стражу, взобрался на помост.

Народ затаился. Ожидал, что будет дальше. Не бывало такого, чтобы великие князья по помосту разгуливали.

Государь был молод, красив, высок ростом. Всем своим видом он напоминал огромную гордую птицу, даже в его профиле было что-то ястребиное. Глаза такие же, как и весь его облик, – пронзительные и колючие.

– Московиты! – закричал Иван с помоста в затаившуюся толпу. – Разве я вам не заступник? Разве я вам не отец? – вопрошал шестнадцатилетний самодержец собравшийся народ.

– Ты нам батюшка! – пронзительно завопил мужик, стоящий в первом ряду.

А следом вразной и уже увереннее:

– Батюшка наш!

– Государь наш батюшка!

– Тогда почему мне не дают печься о вашем благе вот эти изменники?! – показал великий князь на узников, которые со страхом наблюдали за взволнованной толпой, способной, подобно разошедшемуся огню, пожрать их. – Царствие мое отобрать хотели, жизни меня надумали лишить, а вас своими холопами сделать!

– Не бывать этому! Только твои мы холопы, государь Иван Васильевич!

– Твоими холопами были, ими и останемся!

А московский государь продолжал:

– А разве эти лиходеи и изменники не мучили вас? Разве они вас не били смертным боем? Кто поборами несметными обложил?! Они! Только есть у вас защитник от изменников – это государь ваш! Он никому не даст своих холопов в обиду!

Заплечных дел мастера в красных длиннополых рубахах укрепляли колоду. А она попала разнобокая, непослушная, без конца заваливалась на сторону. Палачи повыковыряли с дороги камня и стали подкладывать их под чурку. Наконец мастера выровняли колоду, и старший из них, примерившись к чурке, глубоко вогнал в крепкое дерево топор.

Государь Московский все говорил:

– Эти изменники и матушку мою, великую княгиню Елену Глинскую, со света сжили, думали и до меня добраться. Только за меня господь вступился, надоумил укрепить царствие мое. Чего же достойны изменники, посмевшие пойти против своего государя?

– Смерти достойны!

– Живота лишить! – кричали кругом.

– Воля моего народа для меня святая, – сошел Иван вниз и, махнув рукой, повелел ввести изменников на помост.

Первым поднялся Воронцов Федор. Палач, огромный детина, заломил опальному боярину руки, заставляя его опуститься на колени, и тот, подчиняясь силе, упал, склонив голову на неровный спил. Воронцов кряхтел от боли, матерился, а палач давил все сильнее, вжимая его голову в шероховатый срез. На щеках боярина отпечатались опилки, деревянная пыль залепила глаза, и Воронцов, нелепо колыхая головой, бормотал одно:

– Обманул Васька! Обманул!

Другой палач, ростом пониже, переложил топор из одной руки в другую, примерился к склоненной шее и, выдавливая из себя крик, с широким замахом ударил по колоде. Хрустнули позвонки. Голова со стуком упала и неровно покатилась, оставляя после себя кровавые полосы.

Федора Воронцова не стало. Палач-громадина поднял под руки безвольное тело и оттащил его в сторону.

Следующим был Василий. Палач ухватил окольного за руки, пытаясь повалить его, но Василий Воронцов отстранился:

– Отойди! Сам я!

Окольный трижды перекрестил грешный лоб, поклонился поначалу государю, чинно восседавшему на кресле, потом на три стороны народу и опустился на колени, склонив голову на колоду, запачканную кровью брата. Поцеловал ее и закрыл глаза.

Василий Воронцов сильно походил на брата и ликом, и одеждой. Палач неуютно поежился, разглядывая опять то же лицо, будто только что казненный восстал из мертвых.

– Никита, – обратился он с лаской в голосе к рослому палачу, – Василия ты бы сам попробовал. Страх берет, почудилось мне, будто второй раз мертвеца рубить буду.

Никита-палач хмыкнул себе под нос, взял топор и, указав головой на Федора Воронцова, который лежал тихо и не мог слышать разговора, добавил:

– А это что, по-твоему? Бес, что ли!

И, удобно ухватившись за длинную рукоять, отсек голову и Василию Воронцову.

Иван Васильевич наблюдал за казнью бояр со спокойствием монаха. Только руки не могли отыскать себе места, неустанно перебирали полы кафтана и крутили фиги.

Настала очередь князя Кубенского.

Народ молча наблюдал за медленными приготовлениями палача. Тот долго шевелил плечами, перекладывал топор с одной руки на другую, словно это было некое священнодействие, затем с искусством опытного воинника стал размахивать им во все стороны. И трудно было понять, что завораживало больше: мастерство палача или голая шея, склоненная к колоде.

А когда верзила, намахавшись до пота, опустил топор, собравшийся люд выдохнул в один голос.

Только единожды по лицу Ивана Васильевича пробежала судорога, нечто похожее на улыбку: когда окровавленное тело князя Кубенского свалилось нескладно на помост, а ноги мелко задргались.

Иван поднялся с кресла, и бояре, толкая друг друга, поспешили взять молодого государя под руки. По обе стороны от него в два ряда шли двенадцать бояр; первыми были Шуйские. Замаливая недавний грех, они поддерживали великого князя особенно бережно. Старший из братьев, Иван, наклонился к его уху и что-то нашептывал. Государь слегка кивал и чинным шагом следовал дальше.

Народ еще некоторое время глазел на удаляющегося самодержца, а потом понемногу стал расходиться.

У помоста осталась только одна юродивая баба – во время казни ее не решились согнать с площади. Она сидела на корточках и, раскачиваясь в обе стороны, повторяла:

– Палач-то его по шее топориком, а позвонки «хруст»! Вот так, православные, юродивых обижать!

Палачи, неуклюже сгибаясь под тяжестью, волочили убиенных к телеге, на которой терпеливо ожидал страшный груз возчик.

На следующий день троих бояр прилюдно позорили. Сорвали с голов шапки и держали так целый день, а потом сослали в Великий Устюг. Позже еще троих бояр государь повелел отправить в темницу, и из двенадцати бояр, которые провожали великого князя в день казни, осталось только шесть.

Скоро Иван Васильевич охладел к государевым делам.

Пелагея

На Девичьем поле, где обыкновенно девки крутили хороводы, Иван Васильевич встретил Пелагею. Это произошло во время соколиной охоты, когда пернатый хищник, наслаждаясь свободой, воспарил в воздух, и государь, подобно отроку, гнал коня вслед удаляющейся птице.

– Гей! Гей! Догони его! Догони!

Сокол, словно смеясь над охотниками, высоко взмывал в воздух, а потом неожиданно спускался вниз, едва касаясь крыльями островерхих шапок рынд.

– Догоняй! Догоняй! Лови беглеца! Лови его!

Пелагея появилась неожиданно. В белой сорочке, в высоком кокошнике на маленькой головке, она казалась одним из тех цветов, которыми было усыпано поле. Не по-бабы стройная, Пелагея казалась тонкой былинкой, которая склонялась на сильном ветру.

– Стой, шальная! – дернул поводья Иван, останавливая кобылу, и, оборотясь к девке, вопрошал дерзко: – Кто такая?

– Пелагея я, дочь пушкаря Ивана Хлебова, – с интересом всматривалась девушка в лицо всадника. – По кафтану видать, ты со двора государева.

– А я и есть государь, – просто отвечал Иван и, подняв глаза к небу, увидел, что сокол не улетал, высоко в небе кружился над полем, словно дожидался прекращения разговора.

– Государь?! – всплеснула руками девка и, недоверчиво заглядывая в лицо Ивана, произнесла: – Государи-то с боярами и рындами разъезжают, а ты, как холоп дворовый, по полю один скачешь. Не по-царски это!

Иван Васильевич хотел озлиться, даже замахнулся на строптивую плетью, но рука бестолково замерла у него за спиной.

– А вот это видала? – распахнул Ваня ворот и вытащил из рубахи великокняжеские бармы²³. – Таких камней ни у одного боярина не найдешь. Эти бармы ко мне перешли от батюшки моего, Василия Ивановича. А почему рынд нет? Так они поотстали, когда я за соколом гнался. Вот он, проклятуший, в небе надо мной глумится. Будет еще за то моим сокольничим, что не удержали.

Сокол уже, видно, устал от высоты; подогнув под себя крылья, он сорвался с неба и рухнул в поле, но тотчас воспарил вновь, держа в когтистых лапах лохматое тельце.

– Заяц! – радостно воскликнула девушка.

– Русак, – согласился государь. – Не достать сокольничим птицу, так и улетит.

Но Ивана Васильевича уже не занимала добыча, да и сам сокол его не интересовал. Он с ребячьей непосредственностью разглядывал девку. Глаза у нее синие, под стать василькам, которыми сплошь было усеяно поле; волосы цвета отжатой ржи; а руки белые, как впервые выпавший снег.

Девка, заметив, с каким вниманием ее разглядывает государь, зарделась. И этот легкий румянец, который пробежал по ее коже, напоминающей заморский бархат, заставил смутиться самого великого князя. Негоже государю на девку пялиться, как отроку дворовому.

Понабежали рынды, и сокольничий, вихрастый молодец в зеленом кафтане, запричитал:

– Батюшка, помилуй Христа ради! Не удержал я сокола, только клубочок с него снял, а он, бес, тут же воспарил. Не погуби!

Рынды никак не могли успокоить разгоряченных коней, которые после быстрого бега размахивали длинными гривами, храпели и острыми копытами срывали головки веселых васильков.

²³ Бармы – широкое оплечье с драгоценными камнями.

– Ладно... Чего уж там. – Иван великодушно махнул рукой. – У меня этих соколов целый двор будет, – скосил он глаза на девку, которая стояла не шелохнувшись, насмерть перепуганная дворцовой стражей. И эти слова государя прозвучали бахвальством отрока перед зазнобой. – Если захочу, так всех повыпускаю, а нет, так дальше томиться станут. А ты, Пелагея, не робей. Чай не во дворе у меня, а в поле. Поверила теперь, что я московский великий князь?

– Как же не поверить, батюшка, – уже с поклоном отвечала девушка, не смея глянуть в государевы очи. – Иконка еще у тебя на груди с самоцветами, а такая только у великого князя может быть...

Иван Васильевич в ответ только хмыкнул, дивясь наблюдательности девки. Действительно, про иконку он и не подумал, а она и вправду византийской работа, таких в Москве не делают, и поговаривают, что пришла она в государеву сокровищницу еще от великого князя Василия Васильевича, прозванного народом за слепоту Темным.

– Хочешь во дворе у меня в услужении быть?

– За что же честь такая, государь? Да и не мастерица я вовсе.

– А ты думаешь, Пелагея, что во дворе государевом только мастерицы служат? Ткать умеешь?

– Какая же девица ткать не умеет?

– Ткачихой будешь. Сокольничий! Девке жеребца своего дай и проведи ее до самого двора. А то сиганет со страху в кусты. Ищи ее потом!

Стегнув кобылицу по крепкому крупу, с тем и уехал государь, увлекая за собой расторопных рынд.

Сокольничий надвинул на самые уши шапку и, зыркнув на девку, сказал:

– Чего стала-то? Полезай на жеребца, ко двору поедем, государь дожидаться не станет.

– Не могу, – задрожала вдруг Пелагея, – чувствует мое сердце, погубит он меня. Нетронутая я. Говорят, до девок больно охоч, хотя и летами мал. Хочешь... возьми меня! Только отпусти!

Сокольничий призадумался. Конечно, ежели бы не государь, тогда и попробовать девицу можно было бы.

– Не могу... обоих заперет. Приглянулась ты Ивану Васильевичу шибко, вот он тебя при себе и хочет держать. А теперь полезай на коня, ехать пора. И не думай лукавить! Ежели со двора его задумаешь съехать, так он тебе жизни не даст и дом твой разорит, – напустил страху на девку отрок.

Пелагея немного помедлила, перекрестилась, вверяя себя господе, и, ступив в стремя, лихо уселась в седло.

– Ишь ты! – только и подивился сокольничий. – Могла бы мне на ладони встать, посадил бы.

– Ну что мешкаешь?! Веди ко двору.

Эта новая забава отлучила Ивана от государевых дел. Он забыл про Боярскую Думу и не выходил из своих покоев сутками. Вопреки обычаю, Иван поселил Пелагею рядом с собой, и стража, предупрежденная государем, не смея смотреть ей в лицо, наклонялась так низко, как если бы мимо проходила сама великая княгиня.

Отец, прознав про участь дочки, дважды подходил ко двору, но отроки, помня наказ великого князя, гнали его прочь. Бояре ждали, что скоро Пелагея наскучит государю, и подыскивали среди дворовых баб замену, но Иван прикипал к ней все более. Теперь он не расставался с Пелагеей совсем: возил ее на охотничьи забавы и, не замечая недовольных взглядов, приглашал в трапезную вечерять. Стольников заставлял подкладывать девке лакомые куски и прислуживать ей так, как если бы это была госпожа. Пелагея чувствовала себя под государевой опекой уверенно, смело смотрела в хмурые лица бояр, дерзко манила ладошкой стольников и

повелевала наливать в золоченые кубки малиновой наливки. Пелагея мигом потеснила родивитых бояр, прочно заняв место некогда любимого Воронцова.

Часть вторая Первый царь Московский

Венчание на царствие

Силантий открыл глаза. Темно. Вчера палач кнутом содрал с левого бока лоскут кожи, и свежая рана доставляла ему страдания. Чеканщик перевернулся на спину, боль малость поутихла.

Лупили его уже просто так, без всякого дела. Но Силантий подумал, что все могло оказаться гораздо хуже: выжгли бы на лбу клеймо – «Вор», а то и отрубили бы руку, так куда такой пойдешь? Разве что милостыню на базарах собирать. А клочок кожи – ерунда. Новый нарстет! Рядом что-то шевельнулось. «Крыса!» – подумал чеканщик и уже хотел отпихнуть тварь ногой, когда услышал голос:

– Силантий!

Новгородец рассмотрел разбитое в кровь лицо мастерового с Монетного двора.

– Нестер?

– А то кто же? Я тебя еще вчера приметил, когда меня сюда ввели, да сил для разговоров не было. А потом ты спал. Не будить ведь! Торопиться-то нам теперь более некуда, наговоримся еще... Слыхал новость? Боярину Федору Воронцову государь повелел голову усечь. Так-то вот, брат! А ведь каким любимцем у государя был. Приказ наш весь разогнал, а Васька Захаров теперь думный дьяк и у великого князя в чести. Вся беда от него, шельмы, пошла! Нашептал государю, что боярин у себя на дворе чеканы держит.

– Кто же остался-то?

– Из мастеровых мы с тобой вдвоем остались. Царь повелел новых мастеровых из Новгорода и из Пскова привести.

– А с остальными что?

– Степке Пешне в горло олово залили. Сам я видел. Он только ногами и задрывал, а потом отошел. А какой мастер был! По всей Руси такого не сыскать. Неизвестно, когда еще такой народится. Тебя что, кнутом секли?

– Кнутом, – отвечал Силантий. – Думал, помру, но ничего... выжил! Потом я даже ударов не чувствовал.

– Вот это и плохо! Ты, видать, без чувства был, а душа твоя по потемкам блуждала. Могла бы в тело и не вернуться. Я-то сам глаз не сомкнул, помереть боялся.

– Надолго ли нас заперли сюда?

– А кто же его знает? Лет десять просидим, может, потом государь и смилостивится. Серебро-то мы с тобой не брали и дурных денег не печатали, а стало быть, чисты. А кто деньги воровал, того уже господь к себе прибрал.

В темнице было сыро. По углам скопилась темная жирная жижа, несло зловониями. Через узкое оконце тонкой желтой полоской проникал свет. Он резал темноту и расплывался на полу неровным продолговатым пятном, вырывая из мрака охапку слежавшегося почерневшего сена. Над дверьми висело огромное распятие, и Спас, скорбя, созерцал двух узников.

– Тебе приходилось в темнице бывать? – спросил Силантий.

– А то как же! Приходилось малость. Но то я в темнице при монастыре сиживал, что для квасников были. Почитай два года монахи своим зельем отпаивали, чтобы на хмель не смотрел. Василий Блаженный к нам приходил, заговоры всякие творил. Все душу нашу спасал. Эта

тюрьма уже во втором разе для меня будет. Ничего, даст бог, и отсюда выберемся, – выразительно посмотрел Нестер на Христа.

– Если выберемся, так нас теперь к Монетному двору и не подпустят. А я ведь ничего, окромя как чеканить и резать, не умею.

– Ничего, как-нибудь прокормимся. Руки-ноги есть, голова на месте, а это главное. Благодарю бога, что еще не в смрадной темнице сидим, оконце вот есть, цепи на нас не надели. – И, немного помолчав, мастеровой сказал затаенное: – Глаголят, государь венчаться на царствие надумал, а это значит, помилование будет.

В этот день было не по-зимнему ясно. Даже легкая поземка, которая начиналась уже с обедни, не могла нарушить праздника. Целый день звонили колокола, и перед церквами раздавали щедрую милостыню.

С Постельничего крыльца на всю Ивановскую площадь глашатай прокричал, что Иван надумал венчаться на царствие шапкой Мономаха, яко цесарь. Новость быстро разошлась по окрестностям, и к Москве потянулись нищие и юродивые. Они заняли башню у Варварских ворот и горланили до самого утра. У Китайгородской стены была выставлена медовуха в бочках, и столы черпаками раздавали ее всякому проходящему. Стража не мешала веселиться – проходила мимо, только иной раз для порядка покрикивала на особенно дерзких и так же неторопливо следовала дальше.

Уже к вечеру в столицу стали съезжаться архиереи²⁴, которые заняли палаты митрополита и жгли свечи до самого утра. Даже поздней ночью можно было услышать, как слаженный хор из архиереев тянул «Аллилуйя», готовясь к завтрашнему торжеству. Священники чином поменьше явились на следующий день. Они останавливались на постоялых дворах, у знакомых; и когда все разом вышли, облаченные в нарядные епитрахили²⁵, к заутрене, Москва вмиг утонула в золоченом блеске.

Столица не помнила такого великолепия. В соборах и церквах щедро палили свечи, на амвонах пели литургию, и до позднего вечера на папертях жался народ.

Успенский собор был наряден. Со двора караульщики выгребли снег, уложили его в большую гору, а потом, на радость ребятишкам, залили водой. На ступеньках собора выложили ковры, а дорожки посыпали песком и устлали цветастой тканью. Из казны всем дворовым людям выдали праздничные кафтаны, и казначей Матвей, придиричиво оглядывая государево добро, зло предупреждал:

– Смотри, чистое даю! Чтобы и пятнышка на рукавах не оставил. Если замечу, повелю на дворе выдрать.

Митрополит Макарий успевал привечать гостей и отдавать распоряжения. Он чинно прогуливался по двору и ругал нерадивцев:

– Шибче подметай! Чтобы и сору никакого не осталось, а то машешь, будто у тебя не руки, а поленья какие! Потом Красное крыльцо в шелк нарядите, да чтобы цветом како заря был!

И торжественно, величавой ладьей, уплывал далее.

У лестницы, как обычно, толпились дворовые, ждали распоряжений, не смея проникнуть в терем, жадно глотали каждую новость, выпущенную ближними боярами:

– Государь-то наш после утренней литургии спать лег и только вот проснулся... Сказывают, к столу печенки белужьей пожелал и киселя. Говорят, сегодня государь праздничные пироги раздавал со своего стола. Начинка мясная и с луком, затем квас был яблочный. Пирог, что государь послал боярину Басманову, холоп в снег обронил, так боярин велел распоясать

²⁴ *Архиерей* – высший православный церковный чин.

²⁵ *Епитрахиль* – расшитый узорами передник священника.

его, так и стоял тот на площади посрамленный. Если государь прознает, что его угощение в грязь обронили, в немилость Басмановы впасть могут.

– А до того ли теперь государю! Венчание на царствие завтра. Сказывают, для этого случая кафтан из индийской парчи шит, а мастерами из Персии бармы велико-княжеские обновлены.

К обеду мороз стал крепчать, но с крыльца никто не уходил. Людям хотелось быть рядом с государем и знать обо всем, что делается в Кремле.

Через казначея проведали, что в государеву палату было отнесено несколько ведер золотых монет. Кто-то сказал, что это для раздачи милостыни, и у Кремлевского двора нищих поприбавилось.

Мастерицы резали льняные полотна и заворачивали в лоскуты мелкие монетки, на Конюшенном дворе конюхи готовили лошадей для торжественного выхода: вплетали пестрые ленты в сбруи, украшали коней нарядными попонами.

Оживление в Кремле было до самого вечера, и при свете факелов челядь сновала по двору то с ведрами, то со свечами, спешила сделать последние приготовления.

Раз у Грановитой палаты появился сам Иван. Он подзвал к себе пса, потрепал его по лоснящейся холке, почесал живот. Могло показаться, что все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Государь зевнул и так же неторопливо вернулся обратно в палаты.

День венчания на царствие Иван Васильевич решил начать с благодеяний. Вместе с архиереями он ходил по тюрьмам и жаловал помилованьем татей. Даже душегубцам со своих рук давал серебряные гривны на пряники. Караульники стояли по обе стороны от государя и зыркали по углам, готовясь пустить тяжелые бердыши в нерадивого.

Архиереи источали в тюрьмах благовония, и душистый ладан изгонял из тесных скудельниц²⁶ злых духов, прятавшихся по углам.

Тюремные дворы наполнялись прощенными, и бывшие узники долго не поднимались с колен, провожая юного самодержца.

Трапезничал в этот день Иван Васильевич по-особенному торжественно. Полтора ста стольников стояли у праздничных столов перед иерархами церкви и держали на блюдах изысканные лакомства, заморские угощения, готовые в любую минуту подлить в кубки белого или темного вина. Иван Васильевич ел мало, едва прикасался к каждому блюду. Основательно остановился только на шестой смене, когда подали осетра, запеченного в сметане с яйцами. Государь с аппетитом съел огромный кусок у самой головы, а оставшееся велел разослать боярам.

Архиереи ели не спеша, со значением, торопиться еще не время – венчание состоится только вечером.

Иван Васильевич насытился, встал из-за стола, и тотчас вслед поднялись остальные.

Венчание на царствие происходило в Успенском соборе, который по случаю был особенно торжествен: иконы украшены бархатом и золотом, огромные свечи ярко полыхали, и сам собор казался тесен от многого скопления люда. В первом ряду стояли архиереи и игумены, за ними ближние бояре, затем иноземные послы; у самого входа сгрудились стольники, стряпчие, московские дворяне, а уже за дверьми прочий люд. Иван Васильевич вошел в храм в сопровождении митрополита. Дьяки несли Крест Животворящего Древа, венец и бармы, следом шел архиерей ростовский, а затем, поддерживаемый под руки боярами, – Иван. Народ потеснился, пропуская государя, и, когда до стула оставалось несколько сажений, бояре смешались с толпой, и самодержец с митрополитом остались вдвоем.

Макарий ступень за ступенью поднялся на возвышение и, расправив полы рясы, опустился на стул. Государь Иван стоял ниже митрополита на три ступени. Стоял покорно, как

²⁶ Скудельница – часовня.

послушный сын перед властным отцом или как робкий послушник перед строгим игуменом. Но Иван Васильевич не был ни тем, ни другим. Отца он не знал, а на чернеца не походил.

Звучала литургия, и слаженный хор пел «Многие лета», выдавая государю здравицу. Бояре умело подхватывали, и пение, наполненное множеством голосов, не уместилось в тесноте и через приоткрытую дверь рвалось наружу, а там его уже многократно усиливал многоголосый хор.

Здравица иссякла, а Иван Васильевич по-прежнему стоял перед митрополитом. Вотладыка поднял руку и поманил государя, приглашая присесть на свободный стул. Видно, простил престарелый отец блудного сына, позволив ему приблизиться. И разве возможно не простить, видя такую покорность.

Иван Васильевич поднял голову.

Государь был красив. Множество кровей, намешанных в нем, оставило на его лице след. Греческий профиль достался ему в наследство от Софьи Палеолог и делал Ивана похожим на византийского императора. Холодный взгляд ему подарила литовка мать; чуть раскосые глаза достались от предка-татарина; имя у него было еврейское, вера – греческая, но самодержец он был русский. В его жилах текла не кровь, а некая дьявольская смесь, она могла делать его рабски покорным, но покорность эта всегда граничила с приступами необузданного бешенства. Сейчас в нем победила кровь смирения, доставшаяся от русских князей, которым приходилось ездить в Золотую Орду за ярлыком на княжение; только сейчас судьей был не всесильный хан, а митрополит Московский.

Иван Васильевич встал во весь рост, и каждый из присутствующих едва оказывался ему по плечо. Государь татарским прищуром оглядел собравшихся и поднялся еще на одну ступень, оставляя позади ближних бояр, послов и прочую челядь, все ближе приближаясь к митрополиту, а стало быть, к самому богу. Он подбирался к стулу осторожным шагом зверя; так рысь подкрадывается к косуле, безмятежно пощипывающей траву. Остался всего прыжок, и царственный стул, придушенный многопудовым телом, скрипнет тонко и жалобно. Но государь не торопился. На небольшом возвышении, налоге, лежала шапка Мономаха и царские бармы. Иван смотрел туда, где играл камнями драгоценный Крест: в центре его находился огромный бриллиант, по сторонам изумруды, служившие от сглаза и для отпугивания злых сил.

Митрополит благословил Ивана крестом.

– Господи Боже наш, Царь Царей, Господь господствующих, услышь ныне моления наши и воззри от святости Твоей на верного Твоего раба Ивана, которого Ты избрал возвысить царем над святыми Твоими народами, и помажь его елеем радости. Возложи на главу его венец из драгоценных камней, даруй ему долготу дней и в десницу его скипетр царский.

Митрополит поманил к себе архиереев, стоящих в карауле около царских регалий. Один из них бережно приподнял Крест Животворящего Древа, двое других подняли бармы и шапку Мономаха.

Макарий встал со своего места, взял бармы, и рубины заиграли. На миг митрополит позабыл о царе, об архиереях, о собравшемся народе – он любовался кровавым светом, потом заговорил:

– Мир всем... Голову наклони, Иван Васильевич, не позора ради, а для того, чтобы еще более возвыситься. Высок ты больно, иначе и бармы на тебя не надеть. Только знай, Ванюша, что бармы – это хомут божий, крест на них начерчен, и ты об этом всегда помнить должен. Эх, Ванюша, если бы батюшка был, он на тебя и венец возложил, когда на отдых собрался бы. А так мне, старику, приходится это делать, – посетовал митрополит и, оборотясь к народу, воскликнул: – Поклонись же с нами единому царю вечному, коему вверено и земное царство.

Архиереи Ростовский и Суздальский уже подают митрополиту шапку Мономаха. Ее соболинный мех щекотал ладони. Великий князь все так же стоял со склоненной головой. Мит-

рополит Макарий слегка помедлил, потом надел шапку на московского государя, навсегда спрятав от простого люда царственные власы.

– Спаси тебя господь, – крестил Макарий Ивана, и тот опустился рядом с митрополитом уже венчанным царем.

Макарий поднялся, почувствовав себя холопом.

– Многие лета великому князю Московскому, государю всея Руси Ивану Четвертому Васильевичу Второму... Славься, наш государь, божьей милостью.

Тать Яшка Хромой

До самого утра на московских улицах горели костры, освещая темные углы. Нищие толпами стояли у огня, выставив к теплу руки. Со двора царя доносился бой барабанов, а по улицам, сотрясая звонкими бубенцами, бегали шуты, веселя народ. Караульщики, позабыв на время бранные слова, стаскивали хмельных на Постоялый двор.

Силантий до конца еще не уверовал в свободу, с опаской озираясь на строгих караульщиков, которые, казалось, охмелели от общего веселья, толкали друг друга в бока и смеялись вместе со всеми.

Всю дорогу Силантий помалкивал и только у Китайгородской стены повернулся к Нестеру:

– Прав ты оказался. Выпустили нас.

– А то как же! Не каждый день царь на венчание садится, такое раз в жизни бывает. Вот попомнишь мое слово, когда царь жениться надумает, так и убивцев начнут выпускать. А какие казни в ту неделю должны быть, отменят! Я эту науку не однажды прошел. Народ рассказывает, когда Василий Иванович в жены Елену брал, так он всех душегубцев из темниц повыпустил. А те вслед за свадебным поездом к Успенскому собору пошли и многих живота тогда лишили. Народ-то богатый на царскую свадьбу идет, почитай, со всей округи! Вот караульщики и палят сейчас костры, где могут, чтобы никакого злодеяния не вышло. Куда ты сейчас, Силантий?

Новгородец приостановился. Веселье оставалось позади и напоминало о себе только яркими языками пламени. Впереди – белая стена, похожая на темницу, из которой они только что выбрались. Морозно. Люто.

– На Монетный двор-то уж теперь не возьмут.

– Не возьмут, – согласился Нестер.

– Я более ничего делать не умею, кроме как чеканы, – который раз жалел Силантий.

– Кабы нам чеканы да кузницу свою, – мечтательно протянул Нестер, – мы бы с тобой такие гривенники делали, что от настоящих не отличишь!

– Да что ты говоришь такое! Побойся бога! Едва из темницы выбрались, и не будь помилования, неизвестно, сколько бы сидеть! А другие, что против правого дела пошли, так пламенного олова испили.

– Да будет тебе, – махнул рукой мастеровой, – о завтрашнем дне думать надо. Не на паперть ведь нам идти!

– Что же ты предлагаешь? – призадумался Силантий.

– Ты про Яшку Хромого слыхал? – вдруг спросил Нестер.

– А кто же про него не слыхал? – изумился Силантий.

Яшка Хромой славился как известный московский вор. Некогда он был бродячим монахом: ходил по дорогам, выпрашивал милостыню. Но однажды попался на краже, за что отсидел год в монастырской тюрьме. Братия наложила на него епитимью и весь следующий год запрещала ему молиться в церкви, а велела во искупление грехов сидеть на паперти и просить, чтобы за него помолились добрые люди. А когда срок наказания иссяк, он снова сделался бродячим монахом, кочуя из одной обители в другую.

Яшку Хромого знали не только в Москве, он хорошо был известен в Новгороде, где прожил целый год и прославился как отменный кулачный боец. Приходилось ему бывать и в Переяславле, в Ростове Великом, Костроме и Суздале. Монах был приметен не только огромным ростом, но и знаменит драчливым характером. Рассказывают, как-то в пьяной драке набросилось на него с полдюжины молодцов, так он без особых усилий раскидал их по сторонам.

Видать, просторные русские дороги приучили к вольнице. Яшка больше не заглядывал в монастыри. Вместо того собрал он горстку таких же бродячих монахов, как и сам, и ушел в

леса. Скоро о Яшке заговорили по всей Руси. Он перебирался со своим небольшим отрядом по дорогам и грабил богатых купцов.

Происходило это так: из-за леса появлялся босой и оборванный монах огромного роста, тяжелые вериги склоняли его бычьей шеей, через прорехи на рясе была видна власяница²⁷; он протягивал длань вперед и слезно умолял:

– Купцы, пожалейте сиротинушку, не обидьте его отказом. Христа ради прошу, подайте на пропитание бродячему монаху пятак.

Получив пятак, долго кланялся, но с дороги не уходил, а потом добавлял:

– Мало, государе купцы. Неужно не совестно вам? Добавьте еще.

– Сколько же ты хочешь, чернец? – удивлялся иной купец наглости монаха.

– Вот у тебя в телеге тюки, кажется, есть, а в них, по всему видать, мягкая рухлядь²⁸, вот ты ее мне и отдай!

Из покорного монаха чернец превращался в атамана разбойников, на свист которого невесть откуда выскакивало с добрую дюжину таких же ряженных и уже стаскивали с телег кули, распрягали лошадей.

Но не всегда Яшке везло – в одном из таких дел прострелили ему ногу, и он прослыл Хромым.

О Яшке Хромом говорили на площадях, им пугали боярских детей, о Яшке читали указы, в которых называли его татем и вором, и за голову его московский государь каждый месяц прибавлял десять рублей. Но выловить Хромого охотников не находилось.

В народе о Яшке говорили разное: его боялись и любили одновременно. Поговаривали, что он частенько появляется на торгах ряженным, под простым платьем. Тать знал, какой из купцов в прибыли, а потому дерзкие его вылазки были всегда удачны. Яшка повсюду имел своих людей, поговаривали, даже дьяку Разбойного приказа он платил от своих щедрот.

Иногда вместе со своими людьми знаменитый вор выходил из леса и, расположившись в двух верстах от Кремля станом, палил костры. Яшка словно вызывал московского государя на поединок, показывая, что есть в окрестностях сила, способная поспорить с самодержавным величием. Тогда на ночь запирали ворота, и Яшка Хромой оставался царем посада. Он словно разделил с Иваном Васильевичем землю, отдавая ему город, себе же забирая все остальное: лес, поля, Москву-реку. Всю ночь тогда не смолкали песни, в которых слышалась разбойная удаль; визжали бабы, следовавшие за его повозками; слышался детский смех; и кто-то назойливо теребил расстроенные гусли. Яшка Хромой всякий раз исчезал вместе с рассветом. Развеется ночная мгла, а его уже и нет, только дымящиеся уголья говорили о том, что здесь ночь провел самодержавный тать Яшка Хромой.

Не однажды государев указ объявлял, что вор Яшка Хромой пойман и обезглавлен, что труп его разорван на части и брошен за Земляной город на съедение бродячим псам. И действительно, не раз ловили на московских дорогах бродячих хромых монахов, по описанию походивших на Якова, и секли им головы. Но тать Яшка только посмеивался над указами и продолжал появляться в окрестностях Москвы, будоража посады злодейским пением и звоном расстроенных гуслей.

Силантий с Нестером пошли по Арбатской дороге, мимо Лебяжьего государева двора, мимо Конюшенной слободы. Впереди возвышался купол божьего дома. Не один раскаявшийся тать нашел приют под его гостеприимной крышей. У Новинского монастыря заканчивался Земляной город. Нестер шел уверенно, Силантий чуть поотстал, но не упустил из виду его белую рубаху.

– Где же мы Яшку-то сыщем? – нагнал Нестера Силантий.

²⁷ *Власяница* – грубая волосяная одежда, которую монахи носили на голом теле в знак смирения.

²⁸ *Рухлядь* – движимое имущество, скарб.

– Найдем, – уверенно отзывался тот. – Яшка везде! Если Иван – господин среди своих бояр, то Яшка – господин среди его холопов. Это кажется, что Яшки нет, власть его уходит куда дальше, чем ты думаешь.

Незаметно вышли к Москве-реке. У моста караульщики разожгли костер, над которым висел огромный котел. Варевое издавало сладостный дух и вызывало аппетит. Пахло мясом. И Силантий почувствовал, как ему не хватало именно мясного супа с сытным куском. Поест бы парной говядины, а за нее и богу душу отдать можно!

Один из караульщиков подошел к котлу, лениво ковырнул его ковшом, и котел благодарно забулькал, освобождаясь от горячих паров. Зло полыхнуло пламя, далеко в воду забрасывая огненные искры, которые рассекли темень да и погасли.

– Эй, кто такие? – лениво окликнул караульщик проходивших мимо мастеровых.

– Посадские мы, – бойко отвечал Нестер, – подзадержались малость в городе. Вот сейчас домой идем, заночевать-то негде.

– Ишь ты... посадские! – засомневался караульщик. – По харе разбойной видать, что вор. Царь-то помилование объявил, потому вас сейчас в городе как карасей в пруду. Ладно,пусти его, Григорий. Помилование так помилование. Не будем государев праздник омрачать. Пускай себе идет. Только ежели вор, дальше плахи все равно не уйдет. Не прощаюсь я с тобой, стало быть. Эй, слышь, как там тебя?!

С натужным стоном отворились ворота. Потом вновь стало тихо. На башне разбуженной птицей заскрипели часы, и на колокольне Спасской башни трижды ударили в колокол.

Была полночь.

Силантий с Нестером прошли по мосту. Где-то далеко за спиной вспыхнуло красное зарево: то догорали последние костры, и темнота еще плотнее, еще глуше охватила крепостные стены. Мост был крепкий, и толстые доски едва поскрипывали под ногами мастеровых.

– Выбрались, кажись, – с облегчением проговорил Силантий.

Дорога проходила через посад, который все еще не хотел засыпать и продолжал разделять с государем его радость. Кое-где в окнах робкими мотыльками билось пламя свечи. В одном из дворов какой-то мужик пьяно и весело тянул удалую казачью песню, а ему в ответ сонно отозвалась корова и умолкла на самой высокой ноте, не дотянув своего отчаянного «му».

Нестер и Силантий оставили позади посадки и вышли на Можайскую дорогу. Они не чувствовали усталости, и рассвет показался им неожиданным. Сначала поредевшая малость тьма позволила различить впереди небольшую деревушку: дома веселыми грибами разбежались по пригорку. Потом ночь выпустила дальний лес, а сама отодвинулась к горизонту и там умирала, проглоченная красной зарей. И все отчетливее и яснее стали проступать контуры вздремнувшей чащи; ручейка, особенно голосистого в этот ранний час; поляны, белой скатертью выделяющейся на фоне темных сосен.

Вдруг Силантий увидел, что им навстречу шагает чернец. Он появился из ниоткуда, словно был порождением прошлой ночи, ее грешным плодом; а возможно, это ночь укрылась в его темной пыльной рясе до следующего дня. Вот встряхнет монах одеянием, и темнота вновь постепенно окутает землю: сначала лес, потом ручеек, а затем и поляну.

Монах шел не спеша, чуть прихрамывая, без интереса поглядывая на приближающихся путников. Высоченный и сгорбленный, он походил на жердь, обряженную в монашеское платье. Вся фигура его выражала покорность, даже колени слегка согнуты, готовые продолжить прерванный разговор с богом. Только взгляд у него был шальной и никак не хотел соответствовать униженному виду монаха.

– Милостыню не подадите? – Чернец остановился как раз напротив Силантия и внимательно посмотрел на путника.

Чеканщик поежился: таким голосом не милостыню просить, а с кистенем на большой дороге стоять.

– Пойми, добрый человек, нет у нас ничего. С острога идем. То, что было, на прокорм пошло да караульщики забрали, так что не обессудь.

– За что в остроге сидели, странники? – поинтересовался монах. – Неужно ограбили кого?

– Не грабили мы никого, мил человек, – в голос ответили мастеровые. – Служили мы на Монетном дворе у боярина Федора Воронцова, а тот вор оказался, монеты у себя в подворье делал. Вот за то и поплатились, что рядом с ним были.

– Ишь ты! Страдальцы, стало быть, – посочувствовал монах.

– Как есть страдальцы, – отозвался Нестер.

– А куда путь держите?

– Да сами еще не знаем, милой человек. Видать, туда, куда глаза укажут.

– Хм... И не боитесь? Грабят сейчас на дорогах, а то и вовсе могут живота лишить. Вот выйдет такой, как я, да и отберет все! Вы про Яшку Хромого слышали?

– Как же не слышать? Конечно, слышали! Только видеть его не доводилось. Лютует он, говорят.

– Лютует, – печально соглашался монах. – Находит на него такое. – И, зыркнув бесовскими глазами, добавил: – А ведь я и есть тот самый Яшка Хромой... Что? Испугались? – с довольным видом разглядывал он опешивших путников. – Эй, Балда, поди сюда! – И тотчас из кустов навстречу Нестеру шагнул детина величественного роста, огромный и лохматый, как медведь. – Обыщи-ка их. Чудится мне, что не сполна они исповедались перед иноком. Может, под портками чего утаили?

– Побойся бога, монах, – взмолился Силантий, – если мы и грешны, то уж не до того, чтобы под портками у нас шарить. Нет у нас ничего! – Балда уже сделал шаг, чтобы сграбастать молодца и заголить до самой головы рубаху. – К тебе мы идем, Яков! У тебя хотим служить!

– Ишь ты! – крикнул Яшка от удовольствия. – В тати решили податься? А не боязно? За это ведь государь наказывает. Ну-ка, Балда, покажи путникам свои руки с государевыми метками.

Громила приблизился вплотную к Нестеру и показал руки с безобразными язвами вместо ногтей.

– Видали? Вот так-то! Не далее как два дня назад у палача гостил. Вот вместо калачей ему ногти и повыдергивали. И если бы не помилование, так голову бы на плахе оставил. – И уже другим голосом, в котором слышался неподдельный интерес: – Что, действительно монетное дело разумеете?

– Чеканщики мы, резать умеем.

– Ну что ж... были чеканщики у боярина Воронцова, будете чеканщики у Яшки-вора.

Проклятие Пелагеи

После венчания на царствие Иван Васильевич с Пелагеей расстался. Обрядили ее в монашеский куколь²⁹ и в сопровождении строгих стариц³⁰ стали отправлять в монастырь. Пелагея свою участь приняла достойно: поклонилась в ноги московскому государю и перекрестилась на красный угол.

Еще вчера она была всемогущая госпожа, перед которой сгибалась дворовая челядь, а сегодня оказалась брошенной девкой. Кто-то пнул ее в спину, подталкивая к выходу, а дряхлая и злобная старица зашипела вослед:

– Ишь ты! Приживалица царственная. Теперь до конца дней своих сей грех не отмоешь. Это надо же такое сотворить – государя нашего опутала! Какая только сила в тебе сидит?!

Пелагея обернулась и, гневно нахмутив чело, прошипела:

– Прочь, старая ведьма!

Старица опешила и тихо отошла в сторону. На миг к Пелагее вернулось ее былое величие, и она, обернувшись к государю, произнесла проклятие:

– Сил тебя лишаю, царь! Хоть и молод ты, а немощным стариком станешь.

Пророчество Пелагеи Иван Васильевич почувствовал в тот же вечер, ощутив свое бессилие перед красивейшей девкой Проклой. Баба стояла нагая, без стеснения выставляя всю свою красу перед юным государем. Иван поднялся с ложа, приобнял ее за плечи и почувствовал под ладонями горячее и жадное на любовь девичье тело.

– Не могу, – с горечью признался Иван. – Пелагея всю силу у меня отобрала. Ведьма, видать, она. Иди отседова, постельничий тебя в комнату отведет.

Девка прижалась к государю, прильнула губами к его устам, словно хотела своим теплом вдохнуть в него утраченную силу.

– Государь-батюшка, любимый мой! Да что же она с тобой, ведьма такая, сделала?! Приворожила к себе, да так, что на других баб теперь смотреть не можешь? А ты обними меня, сокол мой, крепче обними. Вот так... Вот так. Силушку свою не жалея, так чтобы косточки мои захрустели. Вот так, батюшка... Вот так...

Иван так и сяк мял девку в своих руках, жадно прикладывая губами к ее груди, но чем сильнее желала Прокла, тем больше он чувствовал свое бессилие.

– Нет... Не могу... Видно, и взаправду ведьма! Околдовала меня Пелагея! Всю силушку отняла. А ты ступай... ступай...

Девка нырнула в сорочку, опоясалась и босой ушла к двери, оставив царя наедине со своим бесчестием.

Последующая ночь для юного государя стала очередной пыткой. Красивые девицы растирали его благовониями, но царь, подобно ветхому старцу, только пожирал глазами крепкие тела, не в силах разбудить в себе былую страсть.

Иван не выходил из своей комнаты уже двое суток, закрывался даже от ближних бояр, и только дьяк Захаров, сделавшийся любимцем царя, да митрополит Макарий осмеливались нарушить его покой.

Между тем о позорной слабости государя заговорили по всей Москве. На Постельничье крыльцо, где обычно коротали свое времечко стряпчие и дворяне, кто-то из бояр вынес весть о недуге царя, а оттуда неожиданная новость шагнула в город.

Наконец Василий Захаров дал совет:

– Раз Пелагея-ведьма порчу на тебя навела, порчу ту извести надобно.

²⁹ *Куколь* – монашеский головной убор в виде капюшона.

³⁰ *Старица* – монахиня.

– Как же это сделать? – с надеждой спросил царь.

– Есть такие бабки, которые хворь всякую снимают. Поплюет иная по углам, так болезнь тотчас и отпадает, как будто ее и не было. А Пелагея – ведьма! Истинно ведьма! Только теперь царскому суду ее не предашь, в монастыре упряталась. А так гореть бы ей на осиновых угольях.

Вечером к государю Васька Захаров привел двух старух, настолько древних, что плесень на их лицах выступала темными пятнами. Их глаза, провалившиеся глубоко в орбиты, посматривали вокруг настороженно и строго.

Это были знахарки, известные всей Москве: тетка Агафья и тетка Агата. Они походили друг на друга так же, как их имена. Даже морщины на лицах у них были одинаковые. Уже второй десяток лет знахарки не расставались со вдовьими платками, похоронив и мужей, и состарившихся детей. Смерть, видно, совсем позабыла про них, забирая уже к себе старших внуков и оставляя женщин в полном одиночестве.

Вошел государь.

Старухи поплевали вокруг, изгоняя бесов, а потом одна из них обратилась к царю:

– Ты, Иван Васильевич, причину бы показал, – трудно от глаза лечить, когда не знаешь, с чего началось. Ты нам все расскажи, как матушке бы своей рассказал, а мы тогда в тебя силу и вольем.

Иван Васильевич оторопел: не было того, чтобы государь перед старухами исповедовался. Одно дело – с девкой забавы ради наслаждаться, совсем другое – нутро свое оголять.

А Васька Захаров не отходил от Ивана ни на шаг, нашептывал в ухо:

– Государь, так для волхования надо.

Иван Васильевич поколебался, посмотрел на старух, потом смело к самому горлу оттянул рубаху и распоясал порты.

– Не робей, государь, скажи все как есть, – подбадривала Агафья. – Чай, и нам когда-то доводилось мужнину плоть зреть. И детишек рожали! Ишь ты... – непонятно чему подивилась старуха. – Эй, милок, мы твою хворь разом изгоним. Будешь богатырем, как и прежде. Девоч станешь любить так, что и сносу твоей игрушке не станет.

Старуха достала из котомки горшок с зельем, побрызгала темной жижей на ноги Ивану Васильевичу, а потом принялась нашептывать:

– Изыди, нечистая сила, от доброго молодца. Уходи в леса и за моря, да за поля дальние. Сгинь во тьме непросветной, растворишься во свете утреннем, а молодец наш Иван Васильевич пусть будет, как и прежде, силен и до баб спелых охоч.

Старуха Агафья беззастенчиво тронула Ивана Васильевича между ног, и он почувствовал, как в нем вновь проснулась мужская сила. Вот как бывает: девки молодые не могли разогреть его кровь, а подошла старуха и растревожила. Может, девицы попадались царю не такие умелые, как эта пахнущая землей бабка?

Иван Васильевич невольно застеснялся проснувшейся в нем силы.

– Ты, бабка, поскромнее была бы...

Агафья, не обращая внимания на замечание царя, поливала его зельем, мяла и тискала восставшую плоть, а потом, когда государь почувствовал себя, как и прежде, сильным, уверенно распорядилась:

– Надень портки, батюшка Иван Васильевич, теперь-то уж девоч тебе не придется бояться!

Следующую неделю царь провел в безудержном разгуле, наверстывая упущенное за время неожиданного «поста». Иван Васильевич, как и прежде, разъезжая по Москве, весело шлепал встретившуюся девку по заду и присматривал для себя новую зазнобу. Государево сопровождение, такие же сорванцы, как и сам царь, бесстыдно пилились на молодых баб и девоч и, не стесняясь в посулах, завлекали молодых в кремлевский дворец.

Однако Ивану веселиться пришлось недолго – опять в него вернулся знакомый недуг. Он снова ощутил свою немощь перед посадской девкой Проклой, призванной боярскими детьми к государю для веселья. Целый день Иван молился в надежде вытравить изъян, клал бесчисленные поклоны, окуривал одежды сладким ладаном, а вечером в хоромы к царю явился Блаженный Василий.

Старик был известен всей Москве своими пророчествами: глянет на человека и укажет, сколько тому годков отпущено, а однажды, сидя на паперти Благовещенского собора, сказал, что в Новгороде пожар великий. Послали гонцов. Так оно и оказалось.

Василий носил на теле густую власяницу, с которой никогда не расставался, на тяжелой цепи болтался огромный железный крест, и вся его одежда состояла из старой рубахи и ветхих портов. Дома у Василия Блаженного не было, спал он всегда под открытым небом, презирая зимой лютую стужу, а летом дождь. Но чаще всего он останавливался на ночлег в городской башне, где размещалась темница для квасников, и ночь напролет вещал грешникам поучения о неправедности пьянства.

Старец Василий запросто входил во дворец, куда не смели появляться знатные чины. Не раз и самому Ивану он делал отеческие замечания, укоряя его за блуд.

Василий прошел мимо караульчиков, которые не смели остановить его из суеверного страха. Старик уверенно пересек двор и неторопливо стал подниматься по Красному крыльцу, прямо в Верх к государю. Блаженного признали и здесь: караульчики расступались проворно, как если бы это был сам царь, только шапки разве что не ломали и в поясе не согнулись. В тереме у палаты государя застыли двое рынд; слегка помедлив, расступились и они.

Василий Блаженный застал царя в молитве.

Выставив голые пятки к выходу, Иван каялся. Лицо его было мокрым от усердия. Волосы слиплись от пота и неровными прядями спадали на лоб. Иван Васильевич заметил вошедшего, но молитвы не прекратил, дочитал до конца прошения, доклат поклоны и только после этого поднялся на ноги.

– Чего тебе? – буркнул царь, отряхивая с портов приставший сор.

– Пришел я к тебе, батюшка государь, чтобы чертей изгнать из твоей комнаты, что по углам прячутся.

Василий развязал котомку, достал оттуда несколько камней и стал бросать их по углам.

– Чу, окаянные! Пошли прочь! Чу, изыди, сатана! – приговаривал Блаженный. – А ты куда запрятался?! А ну вылазь! Не мешай царю отдыхать! А-а-а, испугался! Вот тебе! Вот! – бросал Блаженный камешки. – Получай в лоб! Ага, попал!

Василий совсем не обращал внимания на Ивана, который замер посреди комнаты и испуганно наблюдал за битвой Блаженного с бесами. Босой и простоволосый государь походил на дворового мальчишку, который нелепым случаем оказался в царских палатах. Желтый порхающий свет свечей падал на его лицо и выхватывал из темноты глаза, полные ужаса. А Василий, поправ государевы страхи, приблизился к самым углам и топтал бесов грязными голыми пятками. Когда наконец дело было выполнено, пришло время праздновать победу.

– Всех бесов изгнал, – удовлетворенно признался Василий. – Целая тьма у тебя их собралась, видать, со всего двора. Видно, гресишь ты много, Ванюша, вот потому они к тебе и сбегаются. У святого человека бесов не увидишь, а у тебя хоть и иконы висят, да совсем они их не боятся. По-новому освятить их нужно! Ну да ладно, изгнал я их, теперь они долго не появятся. А ты обулся бы, государь. Вижу, что гордыню свою перед богом умеряешь, только ведь все это от сердца должно идти. Покорность показываешь, а вот сам о другом думаешь. Знаю я все про тебя, Ванюша-государь, мне об этом бог в самые уши нашептывает. Грешен ты! Про болезнь твою знаю и про знахарок ведаю, что тебя от хвори спасали. – Царь, присев на сундук, с силой натягивал сапог на пятку. – Только знахарки здесь не помогут! – приговорил Блаженный Василий.

Иван так и застыл, не одолев сапога, и сафьян гармошкой собрался у самого голенища.

– Как так?!

– А вот так, Ванюша!

– Может, они порчу навели?.. На костре сожгу!

– Старухи здесь ни при чем, – отмахнулся Василий. С его лица спала обычная строгость, и теперь он походил на дворового берендея, который частенько ублажал государя сказками. – Это воля господя! А он вот что мне велел тебе передать... Как только ты женишься, так сразу к тебе мужеская сила вернется.

С лица Ивана уже сбежал испуг. Он обулся, аккуратно разгладил ладонью цветастый сафьян, на голову надел скуфью³¹.

Василий Блаженный был известен на всю округу своими предсказаниями, и не было случая, чтобы старик оказался неправым.

– Женишься, государь, так в первую брачную ночь силу приобретешь, – запустил корявые пальцы Блаженный в седые кудряшки бороды. – А сейчас господь распорядился, чтобы пост был, чтобы очищенным к супружескому ложу явился. Ну ладно, государь, я передал тебе его слова, а теперь мне идти нужно.

Блаженный ушел так же неожиданно, как и пришел. И если бы не отсутствие тревоги, которую он снял с души и забрал с собой, можно было бы подумать, что все это показалось.

³¹ Скуфья – здесь: домашняя шапочка.

Великие смотрины

С женитьбой Иван затягивать не стал, на следующий день он призвал к себе бояр и сказал просто:

– Женюсь я! Хватит баловать, государству наследник нужен, а мне опора. – А перед глазами все стоял Блаженный Василий.

Бояре держались у порога гуртом, недоверчиво поглядывая на государя, всем своим видом говоря: «Что же он еще такое решил выкинуть?!»

Царь скосил взгляд на митрополита, который был здесь же. Лицо у Макария невозмутимое. Губы его уже давно не раздвигала улыбка, лоб разучился хмуриться, и не было новости, которая могла бы удивить священника. Он напоминал каменное изваяние, лишенное чувств.

– Что же это за царь такой, если он не женат? Это как бобыль на деревне, который вроде бы и не мужик, если бабу не имеет. Мне подданными своими управлять легче будет, если оженюсь. Другие государи на меня иначе посмотрят, если супружница моя рядышком присядет.

– Дело говоришь, государь Иван Васильевич, – первым нашелся что сказать Глинский Михаил. – Моя сестра Елена, а твоя матушка возрадовалась бы, услышав такие слова. Внуков хотела все дожидаться, да вот не пришлось.

Весть встряхнула и других бояр, с которых уже спало оцепенение, и они дружно, как гуси на выпасе, потянулись к царю шеями, опасаясь отстать от хора верноподданных:

– Верно, государь, женись!

– Да мы тебе такую свадебку закатим, что правнуки помнить будут!

Шуйские тоже поспешили выразить радость, и старший из братьев, Иван, разодрал губы в блаженной улыбке:

– Вырос наш батюшка! Женатому-то не с руки по дворам бегать и забавы чинить.

Митрополит Макарий, тучный и высокий старец, подошел к Ивану и, пригнув его голову ладонью, чмокнул пухлыми губами в лоб.

– Вот ведь как, Ванюша, получается. Хоть и не положено монаху иметь детей, но ты у меня вместо сына. Привязался я к тебе... ты уж прости за это. Стар я больно, чтобы меня ругать. Венчал я тебя на царствие, государь, обвенчаю и с суженой.

В тот же вечер, удобно рассевшись на лавке в Грановитой палате, бояре приговорили грамоту.

Митрополит Макарий сидел ближе всех к государю и громким голосом вещал:

– Так уж пошло на Руси, что живем мы по византийским законам. Вера у нас православная, и в устройстве светском и церковном мы больше походим на греков. И, стало быть, свадьба государя должна быть такой, какими славились византийские императоры. Дьяк, пиши. – Митрополит вздохнул глубоко, наполняя грудь воздухом, и пламя свечей слегка поколебалось. – «Я, царь и великий князь всея Руси Иван Четвертый Васильевич Второй, повелеваю всем боярам, окольниковым, столбовым дворянам³², у которых имеются девицы на выданье, ехать сейчас же к нашим наместникам на смотр. И девок чтоб от государя не таили. А кто надумает утаить девицу, дочь свою к наместникам не повезет, тому быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте меж собой, не задерживайте ее и часу».

Митрополит помолчал: не упустил ли чего, потом попросил дьяка прочитать написанное. Захаров читал выразительно и громко. Митрополит довольно хмыкнул – складно получилось.

– Может, кто из бояр сказать чего желает?

– Чего уж говорить, и так все ясно, – отозвался за всех Федор Шуйский, посмотрев на братьев.

³² Столбовые дворяне – потомственные дворяне.

Целую неделю дьяки денно и ночью жгли свечи, переписывая грамоты. А когда их набралась целая комната и свитки заполнили все углы и столы, Захаров велел крикнуть ямщиков, которые, похватав свитки с еще не просохшими чернилами, разлетелись кто куда.

Был канун Крещения, и, проезжая мимо деревень, ямщики видели, как бабы, вскинув коромысла на плечи, шли на реку брать крещенскую воду, которую затем будут беречь пуще глаза – она и от хвори убережет, и бесов от избы отгонит. А еще хорошо ей улы кропить, вот тогда пчелы меду нанесут.

Ямщики, строго соблюдая государев наказ, нигде подолгу не останавливались, меняли коней; едва отогрелись в теплой избе и, подгоняемые страхом перед царской опалой, спешили дальше через заснеженный лес к государевым наместникам, воеводам. От них грамоты разойдутся через губных старост³³ по деревням и селам, и на призыв царя должны отозваться в любой глуши, где может прятаться русская красавица.

Наместники, приветствуя в лице ямщика самого государя, снимали шапки и принимали грамоты, понимая, что, возможно, сжимают в руках собственную судьбу.

– Царь жениться надумал, – коротко сообщал ямщик, думая о теплой избе и проклиная стылую и долгую дорогу. Чарку настойки бы сейчас да пирогов с луком, а уж потом и разговоры вести. – Пускай бояре и дворяне, которые дочерей на выданье имеют, к тебе их свезут, а ты лучших отбери. Потом с ними в Москву поедешь, государь их зреть будет.

Наместник облегченно вздыхал и тотчас начинал суетиться:

– Да ты проходи в дом, застыл небось! С самой Москвы ведь едешь. Может, стаканчик вина с дороги отведаешь?

– Отчего не отведать, – улыбался ласково ямщик. – Еще как отведаю. А то уже нутра своего не чувствую.

Отобедав у гостеприимного наместника и отоспавшись на пуховой перине за всю дорогу зараз, ямщик спешил на государев двор сообщить, что наказ его выполнен в точности.

Уже вечером следующего дня из имений в города заспешили сани с девицами в сопровождении отцов и слуг. Девиц провожали всем домом, держали у гладких лбов святые иконы, обряжали во все лучшее и долго не разгибались в поклоне, когда красавицы выезжали за ворота.

Новгородские девицы собирались во дворе наместника. Краснощекие, с подведенными бровями, они зыркали одна на другую, оценивая, кто же из них будет краше. Воевода Михаил Степанович Ермаков в сопровождении двух десятков слуг сошел с крыльца на хрустящий снег, замарав его непорочность стоптанными подошвами сапог, потом, глянув на скопление девиц, пробормотал:

– Ишь ты! Одна краше другой! – И уже строже, оборотясь к дьяку, спросил: – О чем там говорится?

Дьяк крикнул не то от мороза, не то от обилия красоты и, уткнув лиловый нос в бумагу, стал читать:

– «Чтобы лицом была бела, глазами черна, роста не великого и не малого...»

– Так, стало быть.

Боярин, не торопясь, пошел от одной девки к другой. На государев двор должна поехать сотня, а здесь, почитай, тысяча будет.

Вот боярин остановился напротив одной из девок. Она была высоченного роста. Вершка на три выше самого Михайлы.

– Отойди в сторону, – безжалостно распорядился Михаил Степанович. – Шибко длинна.

Девушка вспыхнула алой зарей и, не ерепенясь, отошла к отцу с матушкой, которые уже спешат утешить дочь:

³³ *Губной староста* – должностное лицо, возглавляющее губу – территориальный округ.

– Ничего, съедем мы тебе муженька! Пускай не так чином будет велик, как царь, но зато из наших, новгородских. И нечего тебе за тридевять земель разъезжать.

Воевода уже шел далее отбирать девиц. Он искал таких, чтобы худы не были и в теле держались. А девушки, что торговки на базаре, выставляли перед покупателем свой товар: грудь поднимут, шею вытянут и расхаживают перед боярином, слегка кольхая бедрами. И мороз уже не кажется лютым, главное, чтобы только Михайлу Степановичу приглянуться, а там и до царя малость останется.

– А ты толста больно, таким бабам в государынях не бывать, – заключил боярин, указывая перстом на девушку толщиной в бочонок.

– Почему девицу зазря обижаешь?! Ведь всем удалась! Ежели и толста малость, так это от здоровья! Ты вот, Михайло Степанович, все худых набираешь, а ведь к таким хворь чаще всего прилипает. Неужно не знаешь, что все худые бабы глистами болеют! – заступился за дочь новгородский окольниковый. – Ты, боярин, глаза-то разуй! Брагой их с утра залил, вот и не видишь истинной красоты! Посмотри, какие у Марьюшки щечки, губки! А на руки глянь! – вертел окольниковый хныкающую дочь из стороны в сторону. – Где же еще такую красу увидишь? Эй, Михайло Степанович, друг ты мой любезный, уважить меня не желаешь. Обиду в мой дом норовишь принести.

Воевода и вправду выпил браги накануне лишку и сейчас томился от головной боли, а тут еще окольниковый репьем прицепился; махнув рукой, спорить не стал.

– Ладно, так и быть. Эй, дьяк! Куда ты запропастился?! Ты не по девкам глазей, а пиши, что я скажу. Занеси дочь окольного в список на смотр в царский двор. Ладно, пускай в Москву поезжает, государю пусть покажется. А там, кто знает, может, и впрямь приглянется. Каких только чудес не бывает.

Девки на смотрины в царском дворце отобрали ровно сто. Все как одна ядреные, краснощекие.

Грудастых и перезрелых Михаил Степанович повелел вывести со двора и наказал, чтобы слезы зря не лили. Не везти же всю волость на смотрины к царю!

Рынды распахнули ворота, выпуская девиц, и в сожалении покачали головами:

– Эх, такой цветник выпроваживаем!

Михаил Степанович с видом купца прохаживался мимо отобранных девки, любовно разглядывал красный товар. Девиц он отбирал сам, ни с кем не советуясь, полагая, что уж в этом он разбирается лучше, чем кто-либо. А нравились боярину девки с тонкими прямыми носами, с черными громадными глазищами, слегка капризными губами и чтобы не были толсты, но и чтоб худыми назвать их нельзя.

Девицы, не скрывая любопытства, посматривали на воеводу, о котором в городе говорилось столько всякого. Шла молва, что хаживает он к посадским бабам и за любовь свою расплачивается щедро, не жалея и золотых алтын. А еще толкуют, будто бы прижила от него дите одна красивая монашка. С таким молодцем и в грех впасть – одна радость. Правду молва глаголет: красив боярин!

– Глаза не пяльте! – строго обругал наместник. – Девка смирение свое показать должна. Посмотрел на нее молодец, а она в смущении очи в землю и уставила! Вот так-то... Ниже, еще ниже шею склоняйте, да так, будто мимо вас сам царь идет. Учение это вам на пользу должно пойти. Ну задам я вам, если все вы домой вернетесь и никто царицей не станет! – грозил боярин шутейно перстом. – А теперь давайте в избу, застудил я вас. И хочется мне посмотреть, какие вы без шуб будете.

Девицы прошли в дом, снимали шубы, сложили в угол шапки, и боярин довольно крякнул, понимая, что выбор сделан удачно. С мороза девушки выглядели еще краше: на щеках застыл румянец, и лица их казались иконописными.

Посмотреть на красавиц сбежалась вся челядь и, опасаясь боярского гнева, наблюдала за избранницами в едва приоткрытую дверь. Кто посмелее, проходил с делом мимо ватаги боярышень, стараясь отметить самую красивую.

Похмелье уже изрядно иссушило горло Михаила, и незаметно для себя боярин перешел на сип. Хотелось выпить малиновой настойки, но он вспомнил, что вчера осушил последнюю кадку, и поморщился. Красавицы это поняли по-своему, и одна из них, видно, не шибко робкая, посмела подать голос:

– Не посрамим тебя, батюшка, сделаем все так, как ты наставлял.

– А то как же! – бодро отозвался боярин и, глянув в окно, добавил: – С утречка, по всему видать, снег будет. Вот вы по первому снежку и поезжайте. А я каждой из вас бумагу отпишу, а иначе не примут на дворе.

Если с утра начинать всякое дело, то оно будет спориться. Едва рассвет сумел приподнять тяжелую зимнюю темень и оттеснить ее далеко к горизонту, как по выпавшему снегу заскользили сани. Это ехали в Москву отобранные красавицы. Девушек одели тепло, сверху укутали шубами, закидали душегрейками. Каждый родитель опасался, чтобы дочь не растеряла в дороге красоту, и потому лица густо мазали гусиным жиром, полагая, что в мороз они могут обветриться и потерять привлекательность. Как никогда отцы начинали понимать, что девка – это товар, который важно продать повыгоднее, а здесь и купец хоть куда! Сам государь жениться надумал.

Сто саней с красавицами ехали по Нижегородской дороге, и сейчас широкий тракт показался тесным. Ямщики, красуясь один перед другим, погоняли сытых рысаков, никто не хотел уступать другому дорогу, и эта езда напоминала лихую гонку, какую молодцы порой устраивают на Масленицу. Красавицы от страха еще глубже зарывались в шубы, а бояре-отцы больше опасались отстать, чем перевернуться в сугроб, выговаривая ямщикам:

– Погоняй шибче, твою такую! Неужно не видишь, что другие обходят?!

И если не ведать о содержании государевой грамоты, можно было бы подумать, что в жены царю Ивану достанется именно та девка, чьи сани доберутся до Москвы первыми.

Новодевичий монастырь был переполнен невестами Ивана Васильевича. Девицы в сопровождении мамок и дворовых девок входили в обитель, где их уже дожидались боярыни, которые отводили красавиц в кельи, где девушкам под приглядом дворян придется дожидаться царских смотрин.

– Жить вы будете в монастыре, – строго поучала старшая из мамок, полная крепкая старуха. – Чтоб не озоровать, глазами на стольничих не пялиться, дворян без нужды не кликать. Теперь вы невесты государя! Если заприметим чего недоброе, прогоним с позором, и батюшке вашему об том ведомо станет.

В каждой келье игуменья разместила по двенадцать девиц, к которым были приставлены строгие старицы. Опутанные в черный, словно саван, куколь, монахини ретиво исполняли наказания игуменьи: не позволяли девицам нежиться, как бывало в мирской жизни, будили их с рассветом; наставляли, как следует себя вести, когда попадут во дворец; и чтобы на отроков не смотрели, и по сторонам не глазели, и чтобы из-под руки не подглядывали, и чтобы смехом блудливым горницы не оскверняли, и чтобы слушали царя-батюшку потупив очи, лишнего не глаголили и отвечали на вопросы скромно, а если и выйдет о чем разговор с государем, так вести его достойно, и чтобы говорили больше о рукоделии и о писании библейском.

Девки рассеянно слушали, невпопад поддакивали старицам, а сами бестолково таранились друг на дружку, оценивая, на ком остановит свой выбор царь. Эко понабралось красавиц! Видать, нелегко государю будет.

Следующим днем были устроены смотрины мамками и ближними боярынями. В трапезную Новодевичьего монастыря строгие старицы степенным шагом вводили своих подопечных. Мамки и ближние боярыни, удобно устроившись на лавках, серьезно поглядывали на молодую

красу. Две из них, самые старые, некогда постельничие государыни, помнили, как точно так же, по византийскому обычаю, устраивал смотрины девкам отец Ивана. Красивую он тогда девицу выбрал, да вот пустоутробная оказалась, за то в монастырь была сослана. Видно, нагнали на нее порчу, вот оттого и дите принести не могла.

Девки явно робели под строгими взглядами боярынь, и через толстый слой белил пробивался густой румянец смущения.

– Пусть платья с себя снимают, – бесстыдно пожелала старшая боярыня.

И девки, озираясь на строгий суд, стягивали с себя сорочки, одну за другой.

– А исподнее кто снимать будет? – повысила голос боярыня. – Иль вы хотите изъян какой упрятать? Снять живо!

Девки посбрасывали с плеч узенькие тесемки, и платья упали к их стопам.

Боярыни беззастенчиво зарились на белые молодые тела, вспоминали и свое замужество. А этим девкам повезло, сам государь выбирать из них будет. И поди угадай, кто же из них будущая царица. Сейчас голос на нее повысишь, а она осерчает, потом к себе и в горницу не допустит. И ближняя боярыня, невольно смягчая тон, произнесла:

– Девоньки, сие для чести государевой делается, а не по нашей прихоти. Потому обиду на нас не держите, – и, разглядев на теле у одной из них красное пятнышко величиной с голубиное яичко, поняла, что царицей ей уже не бывать. Порченная! Через этот родимчик бес проникнуть в душу может. – Отойди в сторону и платье накинь, пятно у тебя на теле, – посуловел голос боярыни. – Закончились для тебя смотрины.

У другой оказалась кожа не так бела, у третьей правая грудь больше левой, четвертая хроменькая слегка.

– Теперь на лавку сядьте да ноги расширьте. Позвать знахарок, пусть осмотрят. Может, кто чести из вас лишен.

Девки, стыдливо поглядывая по сторонам, одна за другой опускались на стонущие под ними лавки.

Вошли знахарки; не уступая в строгости самим боярыням, потребовали:

– Ноги раздвинь! Ширше! Еще ширше! Эдакое богатство припрятать хочешь, – ворчали старухи.

И беззастенчиво заглядывали промеж ног, залезали пальцами, пытаясь выведать изъян.

Девицы стеснительно отводили глаза в сторону, полыхали маковым цветом, но делали все, что велели старухи.

– Ишь ты! – вдруг воскликнула одна из знахарок. – Посмотрите на эту бесстыдницу! Не девка уже, а в невесты к государю просится. Где честь свою оставила, бесстыжая?! Чего молчишь, словно языка лишилась?!

Девушка посмотрела по сторонам, но всюду наталкивалась на колючие взгляды, а боярышни, с которыми она успела подружиться, потупив очи, не смели встретить глаза опозоренной.

– Как же это ты, девонька, посрамилась? – укорила верховная боярыня. – А ежели царь на тебе свой выбор бы сделал? Неужно рассчитывать до ложа порочной дойти? Если бы допустили такое, так государь на нас опалу бы наложил. А его немилость хуже смерти.

Девушка сидела, пристыженно закрыв лицо руками. Боярыне подумалось о том, что эта девка будет покрасше других. А такую красоту в невинности ой как трудно уберечь. И суровый ее тон слегка споткнулся, сделался чуток мягче, она сострадала девоньке уже как мать:

– Как же это ты не убереглась-то? Неужели думала позор укрыть?

В первый день было отобрано полсотни девок.

Оказались среди них и знатные боярышни, и совсем неизвестные дворянки, которым судьба дарилась случай выделиться и сделаться первой женщиной Руси. Девицы ходили по монастырскому двору и, беззаботные в своем празднике, пугали строгих стариц безмятежным

смехом. Иной раз игуменья выходила во двор, грозила шепеляво шалуньям тростью и возвращалась в келью продолжать прерванную молитву. Угрозы помогали ненадолго, и часу не проходило, как девоньки, собравшись в круг, уже о чем-то весело переговаривались, шаловливо поглядывая на проходивших мимо стариц и совсем молоденьких послушниц.

Слишком беспечны и веселы казались они для монастырского устава.

Следующий день был строже, и, кроме прежних боярынь, на лавках сидели жены окольных и тучные попадьи.

Боярыни повелели девкам расхаживать из стороны в сторону, пытаясь выведать скрытый недуг. Попадьи вертели девушкам головы, заглядывали в глаза и уши, пытаясь распознать беса.

И вот их осталось двадцать четыре, среди них-то и выбирать Ивану Васильевичу царицу.

Оставшихся девиц отправили в Кремль. Разместили в двух палатах, приставили строжайший караул; боярыни неотлучно находились рядом с невестами, и если случалась нужда, то водили по коридору со стражей. Караульщики предупредительно отворачивались в сторону, не смея лицезреть невест государя. А если попадался кто-то на пути, то он тотчас опускал низко голову, опасаясь встретиться с девицей взглядом.

Девки готовили ко встрече с Иваном: натирали кожу благовониями, мазали лица мелом, в косы вплетали атласные ленты. А потом, за день до назначения встречи, был устроен последний смотр. Окромья прежних боярынь, в комнате были знахарки и три иноземных лекаря.

Девки вновь заставили раздеваться. Лекари обходили со всех сторон красавиц, которым, правды ради, запретили прикрывать срам руками, и они, покусывая до злой красноты губы, не смели смотреть по сторонам. Лекари что-то лопотали на своем языке, трогали пальцами девичьи груди, а потом приказали зажечь всюду свет. Стыдясь девичьей наготы, в комнату вошел свечник и зажег по углам трехрядные свечи. В комнате стало совсем светло. Немецкие лекари, не стыдясь боярынь, со значимым видом беседовали на лавках, заглядывали девкам под мышки, рассматривали их пупки, заставляли раздвигать ноги и, не боясь греха, трогали пальцами стыдливые места.

Девки, привыкшие за последнее время ко всему, смирились теперь и с этим, терпеливо сносили мужские прикосновения и косили глаза на чопорных боярынь. Каждая видела себя царицей и готова была терпеть новые лишения.

Натерпелись сраму девицы, оделись, выстроились рядком и стали ждать, чего приговорят боярыни.

Старшая из мамок, опершись на трость обеими руками, приподнялась с лавки, одернула приставший к заду сарафан и произнесла:

– Хвалят вас лекари. И кожей вышли, и телом. Так и говорят немцы, что на их земле такой красоты не встретишь. Только нос вы не шибко задирайте, – грозно предостерегла старуха. – Одна из вас может царицей быть, а другие, ежели повезет, так при ней останутся – платье ей одевать будут, а кому горшок с комнаты выносить придется. А все честь! Рядом с царицей будет. Завтра вас сам государь смотреть станет, а теперь ступайте с миром.

После поста царь выглядел изможденным. Каша да вода – вот и вся еда. Если что и придавало сил, так это надежда на скорое мужское воскресение.

Государь пожелал устроить смотрины в Грановитой палате, и уже с утра мастеровые готовили комнату к торжеству: на скамьях и сундуках вместо простого сукна постелили нарядное, расшитое золотой нитью и бисером, стены укрыли праздничной завесью, оконца и ставни расписали цветным узором, обычное стекло заменили на цветное; даже потолок украсили цветной тканью, а на пол положили ковры, на которых были вышиты заморские хвостатые звери.

Ближе к полудню вошел дьяк Захаров, глянув недобрым глазом по сторонам, отчитал мастеровых:

– Что же это вы, дурни, иконы не прикрыли? Неужно святые отцы будут созерцать этот срам!

Мастеровые выполнили и это: прикрепили к иконам ставенки, а потом бережно позакрывали образа.

Смотрение государь назначил на шесть часов. Пополдничал, помолился, потом еще принял иноземного посла, не забыл опосля ополоснуть святой водой оскверненные руки, а уж затем отправился в Грановитую палату.

Караульщик дважды стукнул секирой об пол, возвещая о прибытии царя, и девки с боярынями успели подняться.

Царь вошел в сопровождении бояр, которые двигались следом большой разноликой толпой. Рядом с Иваном держался родной дядя царя. Детица аршинного роста, он был почти вровень с государем. Михайло морщил капризно губы и похотливо поглядывал на девиц, которые сказочными лебедями предстали перед государевыми очами. Здесь же был Федор Шуйский-Скопин, сосланный после смерти Андрея на русскую Украину, но незадолго до величайшей радости помилованный государем – даже был пожалован собольей шубой. И сейчас Федор не упустил случая, чтобы похвастаться перед боярами и окольничими царским подарком. Шуба была новая, едва ношенная, и соболиный мех весело искрился в свете свечей. Боярин слегка распахнул шубу, и у самого ворота показался кафтан, вышитый золочеными нитями. Следом за Шуйским шел Андрей Курбский, который не достиг пока больших чинов и попал в свиту как сверстник царя. Шуба была на нем поплоче, но шапка новая, и он бережно держал ее в руках.

Царь шел степенно, величаво опирался на тяжелую трость. Свою быструю пружинящую походку он оставил за порогом палат, и бояре, еще вчера вечером видевшие, как он забавы ради драл за волосы дворового отрока, теперь не узнавали в этом гордеце бесшабашного и резвого мальчика.

Перед ними был царь!

Именно таким бояре помнили Василия Ивановича: неторопливого в движениях, дельного в рассуждениях, даже поворот головы казался значительным. Уж лучше служить государю солидному и со степенной поступью, чем юноше, скачущему аж через несколько ступенек.

– Ну что, девки, заждались? – бодро спросил Иван.

И не было уже в палатах великого государя, а был молодец, нахально пялящийся на раздетых девиц.

– Заждались, батюшка, – встречали девушки царя поясным поклоном.

– Вот и я с боярами к вам поспешил. Замуж небось хотите? Взял бы я вас всех к себе во дворец, только ведь я не басурман какой, царицей только одна может стать!

Бояре стеснительно застыли у дверей, а Иван хозяином уже расхаживал перед девицами.

Вчера, когда девки разделись, он подглядывал за ними через потайное оконце. Особенно понравилась ему одна: с белой кожей и длинными ржаными, до самых пят, волосами. Царь подозвал к себе Андрея Курбского и, показав ему девку, спросил:

– Кто такая?

Девка уже успела надеть платье, скрывая от чужого погляда ослепительную наготу, и прилаживала к махонькой головке узорчатый кокошник.

– Неужно не признал, царь? Это же Анастасия, дочка умершего окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина. В прошлый год на погост бедного снесли, – покрестил лоб Курбский.

И вот сейчас Иван Васильевич присматривал именно Анастасию, которую помнил раздетой, длинноногой, с бесстыдно выступающими выпуклостями.

Но теперь перед ним стояли две дюжины девиц, фигуры которых скрывали длинные бесформенные платья, а белила делали их похожими одна на другую. Царь не торопился, медленно двигаясь от одной девки к другой. В комнате все застыли, наблюдая за государевым вниманием.

Иван хорошо помнил окольного Романа Захарьина. Тот принадлежал к древнему княжескому роду, предки которого служили еще Калите. И в нынешнее время, среди множества княжеских фамилий, подпирающих царственный трон, Захарьины не затерялись и находились близко к Ивану. Род Захарьиных всегда держался в стороне от дворцовых ссор, и сейчас они сумели остаться незапятнанными, не пожелав принять сторону могущественных Шуйских.

Иван иногда останавливался, поднимал девичий подбородок, стараясь заглянуть в глаза, и, узнав, что это не Анастасия, проходил далее. Захарьина стояла предпоследней. Царь увидел ее, когда добрался до середины. Он уже сделал в ее сторону поспешный шаг, но тут же укорил себя. Не годится царю бегать к девке, как отроку безумому! Степенно оглядевшись, Иван увидел, как под его взглядом склонялись к самой земле боярыни, в дальнем углу комнаты огромный кот рвал когтями ковер.

– Кто такая? – спросил государь, остановившись напротив Анастасии.

Девка оробела совсем, не в силах оторвать глаз от пола, а со спины уже раздается грозный шепот боярынь:

– Имя свое говори!.. Имя называй, дуреха!

Девка сумела разомкнуть уста:

– Анастасия я... дочь окольного Романа Юрьевича Захарьина.

– Царицей хочешь быть? – спросил Иван.

– Как бог велит, – нашлась Анастасия.

Она вдруг вспомнила о том, как в раннем детстве Блаженный Василий предсказал, что быть ей царицей. Матушка только посмеялась над словами шального, но отец воспринял прорицание на удивление серьезно и с тех самых пор называл малышку не иначе как «моя царевна».

Анастасии вдруг сделалось спокойно – вот оно, сбылось!

– Ишь ты! Бог-то, конечно, богом, только здесь и царское хотение требуется. – И, обернувшись к боярам, государь изрек: – Вот эту в жены беру! Остальных девок более не томить, отправить домой и каждой дать по расшитому платью.

Бояре поклонились Анастасии.

Всегда чудно присутствовать при таком событии: пришла девка, а выходит из хором царица! Боярыни уже нашептывали государеву избраннице:

– Матушка, ты нас своей милостью не забывай. Мы-то первые в тебе царицу разглядели.

Из толпы бояр навстречу племяннице вышел Григорий Юрьевич, которому отныне сидеть ближе всех к царю. Хмыкнул Захарьин на недобрые и завистливые взгляды бояр и произнес в радости:

– Дай же я тебя поцелую, Настенька.

Обхватив племянницу, украл у государя первый поцелуй.

Один за другим бояре подходили к царской невесте, воздавали честь большим поклоном.

– Здравия тебе желаем, матушка. Ты уж не тяни, наследником нас порадууй!

С теми же словами подошел к государыне Шуйский Иван и, глянув в сияющее лицо Григория, понял, что Захарьины надолго потеснили Шуйских.

Анастасия смущалась под всеобщим вниманием, и через густые белила пробивался алый румянец. А когда царь крепко приложился к ее устам, девка растерялась совсем, стала прикрывать рукавом красное лицо.

– А вы, красавицы, не сердчайте на меня, – обратился Иван к остальным девушкам. – Видно, за меня так господь распорядился.

– Мы на тебя не в обиде, государь, – нашлась одна из них.

– Тебя как звать-то? – повернулся Иван к девушке.

– Ульяна. Мы на тебя, государь, не в обиде. Спасибо за честь, что во дворец вывел. А добрые молодцы еще на Руси не перевелись, – последовал бойкий ответ.

– Хочешь, мы тебя сейчас замуж отдадим, Ульяна? Чего молодцев добрых по всей Руси искать, когда и в этих палатах сыщутся. Вот хотя бы князь Курбский! Андрей, Ульяну в жены возьмешь? – не то шутейно, не то всерьез спросил Иван. – Видать, баба ладная. Это государь тебе говорит, а он в женах толк знает.

– Государь... Иван Васильевич... – опешил князь. – Так ведь есть у меня уже зазноба. Давеча родитель мой сговаривался о свадьбе, мы еще у тебя дозволения на благословение спрашивали. Ты и разрешил! А то как же мы без твоей воли посмели бы?

– Ну ладно, князь Андрей. Пошутил я. Да и не пойдет за тебя Ульяна, мы ей другого женишка подыщем. Получше! Тебе еще до окольного расти, а мы ее за боярина сразу отдадим. Ты за Шуйскими сидишь, а я ее женишка рядом с собой усажу. Вот так, Ульяна. А теперь проводите царицу в ее покои и никого к ней без моего ведома не пускайте.

Боярыни под руки подхватили государеву избранницу и повели из Грановитых палат. Если бы Анастасия Романовна посмела оглянуться, то увидела бы, как гнутся твердокаменные шеи родовитых бояр.

– Теперь это твой дом, государыня, – ласково шептали боярыни. – Владей нами! А мы тебе правдою послужим, – уводили боярышни Анастасию через темные коридоры в светлые просторные палаты. – Ты чего плачешь-то, государыня-матушка, радоваться нужно! Может, мы тебя чем-нибудь обидели невзначай? Или не угодили?

– Всем угодили, – утирала слезы Анастасия, – о другом я горюю: как бы батюшка мой обрадовался, кабы узнал, что царицей сделалась. Ведь Блаженный Василий ему об этом говорил, еще когда я чадом была. Да разве возможно было в такое поверить!

– А ты поверь, поверь, родимая! Теперь тебе в царицах ходить!

Царская свадьба

Анастасию Романовну берегли крепко.

У самой двери стоял караул, который не пускал без особого соизволения никого из дворовых, а если и поднимался кто в терем, так входил вместе с ближними боярынями. Верхние боярыни теперь прислуживали невесте государя: принимали у стольников горшки с питием и щами, пробовали варево на вкус – не подсыпано ли зелье – и сами расставляли кубки с питием и блюда с едой на столы.

Анастасии Романовне во время трапезы прислуживали девицы: подливали в кувшин малиновой наливки, в миски добавляли белужьих языков, которые невеста царя особенно любила, да спинки стерляжи. Любое распоряжение Анастасии выполнялось без промедления, как если бы это было желание самого царя.

Однажды она пожелала иметь заморскую птицу с длинными лазурными перьями на кончике хвоста, которую однажды видела на страницах византийских Библий. Недели не прошло, как к терему невесты был доставлен огромный павлин.

Иногда к Анастасии заходил сам царь. Словно испуганная стая, разбегались девки во все двери – спешили оставить Ивана наедине с невестой.

– Как девки-то засуетились, – довольно хмыкал Иван, подходя к Анастасии.

За это время Анастасия Романовна малость осмелела, уже без прежней робости поднимала глаза на царя и не без удовольствия отмечала, что жених красив. Иван был величав ростом, плечи литые и широкие, как у кузнеца, а руки на редкость сильные, закаленные борцовскими поединками.

– Боятся они тебя, батюшка, – низко кланялась Анастасия.

– Чего же меня бояться? – искренне удивлялся царь. – Девочек я люблю.

От Ивана не укрылось, как при последних словах Анастасия вдруг погрузилась. «Еще женой не стала, а ревность уже заедает!»

Иван ухватил Анастасию за плечи. Девица не вырывалась. Ее спокойный взгляд остановился на крепких руках царя, по которым синими ручейками разбегались вены. На мгновение Иван почувствовал страсть, которая была настолько сильной, что он едва справился с желанием сорвать с Анастасии сарафан и взять ее здесь же, посреди девичьей комнаты.

– Не боишься, что сейчас из девки бабу сделаю? – спросил вдруг царь, переводя дыхание.

Анастасия подняла глаза и отвечала кратко:

– Все в твоей воле, батюшка.

И по этому короткому, но твердому ответу Иван понял, что не ошибся в своем выборе: нежность, которую он ранее не знал, горячим родником забила где-то внутри и, не найдя выхода, забурилась, все сильнее распаяя кровь.

– Не трону я тебя... до самой свадьбы не трону. Все по-христиански будет: сначала банька, потом венец, а уж после женой станешь. Воздержание только усиливает любовь. Сразу на Тимофея Полузимника свадьбу справим. Как уйду, так девочек кликнешь, хочу с тобой вечером... И чтобы жемчуга и бисера не жалела. В наряде желаю тебя видеть.

Анастасия поклонилась ниже обычного и дольше, чем следовало бы, не разгибалась в поклоне, сполна оценив честь, которую оказывал ей молодой самодержец. Не всякая государыня с царем-батюшкой трапезничает, а она, еще женой не став, за одним столом с Иваном Васильевичем сидеть будет.

Иван ушел, согнувшись в проеме дверей едва ли не вполовину, но шапка на нем горлатная слегка сдвинулась в сторону, зацепившись макушкой за резной косяк.

Стольники и кравчие уже загодя сложили дрова, которые теперь огромными кучами возвышались на царском дворе и в иных местах. Дрова будут сожжены не тепла ради, а просто так,

для свечения и веселья во время первой брачной ночи. Иногда к пленницам подходили жены с санками и выпрашивали у караульщиков дров. Караул в этот день был нестрогий, отроки с удовольствием засматривались на красивых девок и позволяли выбирать сушняк, которого заготовлено под самые крыши. На царском дворе, пробуя голос, заиграла суренка³⁴ да и смолкла, а следом за ней ударили литавры и так же неожиданно утихли.

Несмотря на холод, который держался уже с Макариева дня, народу в Москве было много. Это не только посадские, прибывающие в стольную на каждый праздник в надежде отхватить лишнюю краюху и отведать задарма браги, пришли и нищие из окрестных городов, и бродяги с дорог, чтобы вдоволь испить и поесть. Они заняли всю городскую башню, и ночь напролет оттуда раздавались пьяные голоса и женский визг. Караульщики не тревожили расшумевшуюся бродяжку братию, которая поживала по своим законам, только иной раз, когда шум делался невообразимым, стража покрикивала на разгулявшихся. Это помогало ненадолго, и позже все начиналось сначала. Горожане опасались появляться здесь в ночное время, так как не проходило дня, чтобы кого-нибудь не ограбили и не порезали в пьяной драке. Чаще всего несчастный оказывался бродягой или нищим. Покойника стаскивали на одну из улиц, а потом неузнанный труп караульщики забрасывали на телегу и отвозили в Убогую яму.

И только Василий Блаженный мог безбоязненно костлявым привидением расхаживать среди бродяг.

Базары в этот день были многолюдны. Особенно изрядно народу собиралось на Москвереке, где торг шел каждую зиму. Накануне на базар явились боярские дети и скупили для царской свадьбы всех соболей. Торговаться не стали, и купцы получили за товар золотыми монетами и новгородскими гривнами. На базаре говорили, что весь кремлевский двор был услан персидскими коврами. Всех дворовых людей нарядили в золоченые парчовые кафтаны и сафьяновые сапоги, а еще для простых людей заготовили множество бочек с вином и кушанья всякого без счета.

К Кремлю подъезжали иноземные послы, удивляя москвитов своим платьем и манерами. Они расторопно прыгивали в рыхлый снег и, отряхивая длиннополые мантии, что-то лопотали на гортанном языке. Мужики простовато всматривались в их босые лица, и восклицания без конца будоражили толпу:

– Глянь-ка, лицо-то совсем безбородое, как у бабы моей! И поди дознайся теперь, кто приехал – не то мужик, не то девица!

– По портам как будто бы мужик, а вот по платью вроде бы баба.

– А может, и вправду баба, смотри, какие волосья-то длиннющие!

Иноземцы умели собирать большие толпы, располагали к себе широкими улыбками, какой-то заразной веселостью. На них смотрели как на большую диковинку, с тем же немеркнущим интересом, с каким обычно разглядывали ручных медведей. Детишки, подбегаясь поближе, строили рожицы и тотчас прятались за спины мужиков.

Иноземцы совсем не обращали внимания на ротозеев – по всему было видно, что они привыкли к таким встречам. Слуги расторопно стаскивали тяжеленные сундуки на снег, а немцы в богатых волчьих шубах уверенно распоряжались.

– А на ноги посмотри, – восклицал кто-нибудь из мужиков. – Башмаки такие бабы носят! И не поймешь, что за порты – не то ляжки толстенные, не то ваты в штаны напихано!

Въезжать в Кремль не разрешалось даже послам, и потому сундуки грузили на сани, и слуги, впрягаясь в лямки, тащили поклажу вслед за хозяином.

Мужики не расходились, провожая немцев любопытными взглядами. Все в них было странным, начиная от одежды и заканчивая речью. Даже улыбки, которыми они щедро одаривали собравшихся, казались особенными.

³⁴ Суренка – духовой музыкальный инструмент, дудка.

Один из иноземцев – высокий здоровенный детина в короткой волчьей шубе и черно-бурой шапке, по всему виду, важный боярин – шел впереди, в руках он держал какое-то заостренное орудие, и длинная рукоять так и играла разноцветными камнями.

– Стоять, немчина, куда прешь?! – вышел навстречу послу молодой караульщик. – Чего это ты на государев двор с копьем вошел? Или порядка нашего не знаешь? Не положено с оружием к государю входить! Сдай свое копье! – Караульщик уже потянулся к оружию, но в ответ услышал яростное восклицание. – Аль недоволен чем?! Так мы тебя сейчас взашей, а еще государю расскажем, что ты на свадьбу с булавой пришел!

Вперед посла вышел незаметный человек, который и ростом и видом своим являл полную противоположность вельможе, только одет он был так же нарядно: на плечах меховой плащ, шапка из куницы. Проковылял на кривеньких ножках к караульщику и произнес бесцветно:

– Господин посол говорит, что это не оружие, а отличительный рыцарский знак. И отдать в руки его он никому не может, это значило бы оскорбить честь посла.

– Ишь ты! Как же это не оружие, когда оно под булаву заточено. Да им не то что человека, медведя завалить можно!

Человечек повернулся к детине и что-то сказал. В ответ вельможа быстро зататорил, и, даже не зная языка, все поняли, что посол шибко бранился.

Мужики не расходились, с любопытством наблюдали за тем, что произойдет дальше. Походило, что это будет поинтереснее, чем пляска ручных медведей.

– Думает, ежели он немчина, так при оружии и во дворец может подняться, – подначивал караульщиков горластый сухой старик. Грудь его, несмотря на сильную стужу, была расхристана, и на тонкой тесемочке болтался медный крестик. – Это таким набалдашником хватить по темечку, так и не станет человека. А тут, виданное ли дело... к самому государю-царю идет!

– Господин барон говорит, что даже на императорском дворе у него не отбирали жезла. Так почему же князь Иван ставит себя выше августейших особ? Еще барон требует, чтобы к нему вышел кто-нибудь из бояр, он не хочет понапрасну тратить время на бестолковую стражу.

Неожиданно караул расступился, и мужики увидели Михаила Глинского, ставшего после венчания царя конюшим. Несмотря на стылую погоду, они все как один посдирали с нечесаных голов заячьи малахаи.

– Батюшка, Михаил Львович, иноземец здесь со свитой во дворец к государю пожаловал, хочет при оружии во дворец пройти.

Боярин оглядел иноземца.

– Не положено, – просто произнес он. – Скажи, что и мы, верхние бояре, когда на государев двор идем, все оружие с себя снимаем.

Толмач низко поклонился Михаилу Глинскому, признавая в нем породу, и высказался:

– Посол говорит, что не может дать свой отличительный жезл никому. Это нанесет ему оскорбление.

– Никто его брать не будет, пускай караульщикам оставит, а они за ним посмотрят, – разрешил Михаил Глинский и этот спор. Посол снова зарокотал, а толмач учтиво поклонился боярину, смягчая грозный рык хозяина.

– Господин барон сказал, что будет жаловаться на самоуправство великому князю.

Михаил безразлично махнул рукой и произнес:

– Пускай жалуется, если охота есть. – И, уже оборотясь к рындам, прикрикнул: – Запрячь мне живо коня, да седло с бархатом несите, а то на старом гвоздь вылез, всю задницу мне истерзал!

Посол раздумывал секунду, а потом сунул караульщику рыцарский жезл и шагнул в ворота, уводя за собой многочисленную свиту.

Мужики неохотно расходились, весело потешаясь над спесивостью немчины, перебрасывались прибаутками.

Несмотря на промозглую стынь, чувствовалось приближение праздника. Даже колокола звонили как-то по-особенному, звонче и радостнее, предвещая всеобщее ликование. В церквах на утреню было как никогда торжественно. В Благовещенском соборе молились прибывшие архиереи. Службу вел сам митрополит Макарий: протяжно и звонко тянул «Аллилуйя!» и поделовому, неторопливо расхаживал перед алтарем, то и дело осеняя присутствующих бояр и челядь крестным знаменем.

Ближе к вечеру заголосил главный колокол Архангельского собора. Его можно было различить среди множества похожих по протяжному щемящему звону, который как будто бы повисал над городом стылым криком. Следующий удар перекрывал слабеющий звук и сам, в свою очередь, зависал над домами, проникая в каждый терем и горницу. Вслед за главным ударили колокола поменьше, которые, казалось, звонили вразнобой, но уже вскоре они собрались воедино, создавая гармонию звуков. И уже после к ним присоединились колокола меньших соборов и совсем маленьких церквей.

Народ ошалел от неслыханного многозвонья.

Даже на базарах черные люди снимали шапки, купцы застыли в изумлении, соображая, в какую же сторону отвесить поклон. Но звон раздавался отовсюду – все сильнее и все настойчивее, напоминая о царской свадьбе. Народ плотным потоком ринулся к государеву двору, откуда должен был показаться санный поезд. А проход уже перегородили дюжие стольники, и караульщики с рындами, распахивая наступающую толпу, грозно предупреждали:

– Куда прешь?! Язви тебя холера! Смотри, нагайки отведаешь! Сказано, дорогу давай! Сейчас сам государь выйдет!

Но эта отчаянная ругань не могла никого напугать, передние только на миг замешкались, а задние наступали все настойчивее, подгоняемые горячим желанием лицезреть венчального самодержца, и шаг за шагом выталкивали передних прямо на гневную стражу.

– Ну куда? Куда прешь?! – разорались рынды, отвоевывая бердышами у плотной и вязкой толпы дорогу для государя. – Разрази тебя! Или нагайки хочешь попробовать?

Движение толпы от натуги малость замедлилось, будто надорвался волчок, который будоражил вокруг себя всех, а потом мало-помалу вновь московиты стали теснить караульчиков.

Вот колокола умолкли, языки подустали, и только один из них, главный колокол Архангельского собора, словно тяжело дыша, продолжал отбивать набат; под его размеренный гул на Благовещенском крыльце показался царь. Он шел в сопровождении бояр, чуть впереди архиереев, которые беспрерывно кадили душистым ладаном, тем самым нагоняя страх на нечистую силу. Иван смело сошел с крыльца, у которого рынды под ноги государю поставили скамейку, обитую бархатом. Рядом терпеливо дожидался вороной жеребец. Царь ступил на скамью и закинул ногу в золоченое седло. Было ясно, что скамья ему лишняя, но таков порядок, что и на лошадь государь должен ступать по-царски.

Иван тронул поводья, и аргамак, послушный воле хозяина, кивнул, соглашаясь идти. Только великий государь мог въезжать на двор на коне, свита послушно следовала рядом. Впереди шел митрополит с архиереями, которые щедро раздавали благословения во все стороны, затем в окружении бояр ехал царь, а уж следом длинной вереницей потянулись дворовые люди, которые, как и окольничие с боярами, были одеты по-праздничному: в терликах³⁵ бархатных и в шапках из черной лисы.

Иван неторопливо выехал со двора, и караульщики, уже не справляясь с нахлынувшей толпой, в неистовстве орал:

– Назад! Назад! Мать вашу!..

³⁵ Терлик – длинный кафтан с короткими рукавами.

Вперед вышли дворяне с факелами в руках и, полыхая огнем во все стороны, расчищали государю дорогу. Но Иван неожиданно остановился: впереди множество народу, но глаз он не встречал – кто на коленях, а кто глубоким поклоном приветствовал выехавшего царя.

– Милости, государь! Милости просим, Иван Васильевич! – услышал обычное самодержец.

– Наградить народ за верность, – сказал Иван, – пусть всем моя свадьба запомнится.

Жильцы, позванивая гривенниками, запустили руки в котомку, и на головы собравшихся упал серебряный дождь. Тесня один другого, черный люд принялся собирать просыпавшиеся монеты, а на головы, плечи, спины продолжало сыпаться серебро.

Сам царь, казалось, опьянел от увиденного, громко смеялся и все орал:

– Еще!.. Еще!.. Кидай выше! Бросай!

Монеты походили на сорвавшиеся с неба звезды, сыпались непрерывно, превратившись из тоненьких ручейков в шумящую, словно водопад, реку серебра. И когда эта забава наскучила Ивану, он оборвал смех и, погладив тонкую лоснящуюся шею аргамака, сказал:

– Все! Хватит! К невесте ехать нужно. Заждалась уже меня любавка.

Царь в сопровождении двух сотен всадников отъехал со двора, а следом длинным поездом потянулись сани, в которых, удобно разместившись на перинах, ехали бояре да окольные.

– Дорогу царю! Освободить дорогу! – впереди всех спешили рынды и не шибко расторопных заставляли нагайками сбежать в сторонку.

Улица была залита огненным свечением. Сухие поленицы ярко полыхали, трещали оружейными выстрелами и, словно пули, во все стороны разбрасывали жалящие искры.

– Дорогу великому князю и государю всея Руси самодержцу Ивану Васильевичу!

Все сильнее звучали литавры, все веселее пели суренки; кто-то из стряпчих громыхал цепями, слышалось скрежетание и лязг железа.

Длинной вереницей к дому Анастасии Романовны потянулся и черный люд.

Царя ждали за воротами каравайщик с хлебом, свечники с фонарями и отовсюду – ропот боярской челяди:

– Милости просим, батюшка-царь. Милости просим. Невестушка-лебедушка заждалась.

У ворот встречали царя люди чином поболее, и кафтаны на них понаряднее, золотом шитые.

Иван Васильевич проезжал не останавливаясь и только в самом дворе спешился, разглядев среди встречающих Григория Юрьевича.

Трижды большим поклоном поприветствовали родители великого гостя, согнулся однажды и Иван.

– Проходи, государь, милости просим!

И бояре, подхватив под руки царя, повели его в дом.

Посторонних на боярский двор не пускали, государевы рынды с бердышами на плечах и высоко приподняв подбородки расхаживали по двору. Иногда кто-нибудь нерадивый особенно близко подступал к воротам, и тогда можно было услышать грозный предостерегающий крик от караульчиков:

– Куда прешь, нелегкая! Сказано – назад! А ну со двора, а то я тебя сейчас бердышом потороплю!

Незванный гость отступал глубоко в толпу и через головы собравшихся силился рассмотреть – что же делается у крыльца и под окном.

Запрет караульчиков не распространялся только на детишек, которые облепили окна и, дружно галдя, пересказывали, что творится в горнице:

– Царь за стол сел!

За воротами новость тут же подхватили, и она убежала далеко в толпу:

– Сел царь!..

А детишки уже говорили далее:

– Царю Ивану и невесте Анастасии сваха гребнем волосы чешет... Соболей вокруг голов обносят.

И снова эхо за воротами:

– Соболей обносят!

– Дружка платки на блюдах разносит!

– Новобрачные с места встают!

Это услышали и рынды, стоящие в карауле у дверей, и, придавая голосу грозу, предостерегли:

– А ну со двора, детина! Куда полез? Царь с крыльца спускается!

Следующий окрик у окон заставил встрепетаться всех:

– Царь с невестой в сени выходят!

Распахнулась дверь, выпустив клубы пара. На порог расторопно выбежали стряпчие, в руках они держали камки³⁶ и тафты.

Раздавались строгие распоряжения:

– Стели тафты, дурья башка! Стели!.. До самых саней выкладывай, чтобы молодые о снежок не запачкались. Царица здесь пойдет, прочь с дороги! А ты чего замер?! Камки постилай к государеву аргамаку.

Стольники и стряпчие обложили тафтой крыльцо, бросали камки прямо на снег.

Во дворе разом выдохнули: на пороге показался «князь» с «княгинюшкой».

– Царь-батюшка!

– Царь Иван Васильевич!

Иван с Анастасией, подминая легкой поступью тафты, спустились с крыльца. Следом шествовали бояре с боярынями.

– К венчанию царь идет! К собору направился! – доносилось за воротами. – На аргамака своего садится.

Боярыни окружили Анастасию Романовну заботой: поддержали бережно под руки, расправили складочку на шубке. Все на миг замерли, разглядывая царскую невесту. Анастасия действительно была красива: чело украшено жемчужной каймой, на венце яхонты лазоревые и изумруды граненые. Лицо будущей царицы разрумянено: не то от морозца, не то от веселья. Соболя шуба слегка касалась высланной дорожки, и кто-то из боярышень подхватил край и понес вослед государыне.

Свадебный чин поделился надвое: бояре последовали за Иваном, боярышни за Анастасией.

Сани уже были уложены атласом, на сиденье перина. Поддерживаемая боярышнями, Анастасия взошла на сани.

– Присядь, матушка, здесь тебе удобно будет.

Анастасия села и тотчас утонула в мягком пуху.

– Поспешай! – поторопил возничий лошадь, которая уже успела застояться и застыть, и сейчас она охотно тронулась, предвкушая быструю дорогу.

Сани Анастасии и конь Ивана Васильевича поравнялись у самых ворот, едва не столкнувшись боками, и караульщики, сторонясь, распахнули врата как можно шире, пропуская к венчанию и государя с будущей государыней, и весь свадебный чин.

– Эх, разиня! Вот дурень! Соболей в сани забыл покласть! – завопил Михаил Глинский.

³⁶ Камка – шелковая ткань с узорами.

Молодой дружка, напуганный грозным окриком конюшего, с соболями под мышкой выскочил пострелом навстречу к саням и едва успел положить их на возок рядышком с Анастасией. Лошадка уже весело набирала ход, оставляя далеко позади сани многих бояр.

– Княгиня едет! Дорогу! – орал ямщик простуженным и потому хрипастым голосом.

Московиты испуганными птахами разлетались во все стороны и провожали растянувшийся на добрые две версты свадебный поезд, который гремел цепями, стучал в барабаны, орал похабные частушки.

Сани с княжной и государь так вместе и въехали на царский двор, оставляя за воротами на площади свадебный поезд.

А государевы стряпчие под ноги невесте уже стелют ковры, приговаривая:

– Ступай, матушка, ступай, чтобы тебе мягонько было на царском дворе.

Анастасия едва приподняла рукой шубу и наступила на самый край ковра, цепляя острым носком башмака слежавшийся снег, но боярские руки осторожно и бережно подхватили ее, предупредив от падения.

– Ты бы помягче, государыня. Каково же это на царском дворе падать! – И уже тише, явно остерегаясь пришедшей мысли: – Примета дурная перед венчанием-то...

Архангельский собор поджидал великих гостей. Двери его были приветливо распахнуты, и на крыльцо, сопровождаемый архиереями, явился митрополит.

И звон!.. Звон!.. Звон!

Горожане ликовали. Через открытые двери собора на свободу прорвалось чудесное пение, и «Аллилуйя» сумела заполнить весь двор.

Государь спрыгнул молодцом и сразу был подхвачен заботливыми руками рынд, как будто сходил с коня не молодец семнадцати лет, а валилась на мраморный пол фарфоровая чаша.

Две парчовые дорожки, которые начинались с разных концов двора, спешили навстречу друг другу, чтобы сойтись вместе перед крыльцом величавого собора и указать князю и княгине путь к алтарю.

Свадебный чин, бояре и даже черный люд, обманувший стражу и нашедший себе место на задворках, видели, как царь спешил к невесте, а она лебедушкой, слегка приподняв маленькую голову, украшенную убрусом³⁷ и кистями жемчуга, шла по коврам. И подвески у самого виска, играючи, раскачивались в такт шагам. Они сошлись у огромного ковра, на котором были вышиты целующиеся голубь с голубкой.

Иван Васильевич слегка приобнял невесту за плечи, и ковровая дорога повела в храм.

³⁷ Убрус – головной платок, расшитый узорами, иногда украшенный золотом, жемчугом.

Брачная ночь

Позади брачное венчание.

Иван, признавая в Захарьине тестя, неумело поцеловал его в плечо, и тот, явно стесняясь ритуальной ласки, отвечал:

– Ладно тебе, Иван Васильевич. Будет. – И уже веселее, понимая, что отныне жизнь его станет куда почетнее, добавил: – Вот мы и породнились. А ты в комнату теперь иди, Ванюша, с новобрачной.

Анастасия Романовна стояла слегка в стороне, ждала Ивана и все не решалась переступить порог спальных покоев. Тысяцкий³⁸ со свахой о чем-то весело любезничали, и их громкий хохот доносился в сени. Из приоткрытой двери на Анастасию Романовну озоровато посмотрел дружка и вновь пропал в спальных покоях.

Иван поднял два пальца ко лбу:

– Во имя Отца... – к груди: – Сына... – и, глянув на невесту, все еще застенчиво жавшуюся в углу, продолжал: – и Святого Духа... Аминь!

Тысяцкий уже торопил Ивана и невесту:

– Все настелено, царь-батюшка. Простынка белая, перина мягонькая. Заждалась вас постеля.

Иван взял невесту за руку и почувствовал прохладу ее ладони; повел Анастасию в спальную комнату. Сейчас он вдруг понял, что притомился за целый день, ноги просили покоя, вот сейчас дойдет до постели и уснет, не снимая кафтана. Государь вдруг вспомнил, что за целый день не съел и куска, и тот пирог, что предлагала ему сваха, так и остался на столе нетронутым.

Молодые присели на край постели, и тысяцкий, большебородый Иван Петрович Челябинин, словно вспомнив про свои обязанности, подтолкнул рыхлозадую сваху к перинам:

– Ну что застыла, мать? Покрывало с постели снять надобно.

Собрали покрывало бережно, положили его на лавку и вышли.

– Матушка, царица наша, – позвала сваха Анастасию Романовну, – ты за занавесочку пройди, мы для тебя наряд приготовили.

Царица Анастасия поднялась, голову держала ровно – она продолжала ощущать на темечке венчальную корону: наклони невеста голову в сторону, и скатится венчальный веночек прямо на пол.

За занавеской царицу дожидались ближние боярыни.

– Венец, матушка, сними. В постели-то он не понадобится, – посоветовала сваха. – А теперь рученьки подними, мы тебе платье снять поможем.

Анастасия Романовна покорно подняла руки, закрыла глаза, легкая ткань коснулась ее лица.

– Сорочку распоясать, государыня? – спросила сваха и, уже не пряча восторга, произнесла: – Какая же ты красивая, матушка! А тельце у тебя какое беленькое.

– Я войду к царю так.

Анастасия Романовна подождала, пока боярыни выйдут, а потом, простоволосая и необутая, в одной телогрее на плечах, явилась к Ивану.

Иван все так же сидел на краю постели. Робок сделался царь. Скрипнула неловко половица, предупреждая государя о возвращении Анастасии.

– Красивая ты девица, – просто высказался Иван. – Только телогрею с себя скинь, всю хочу зреть.

³⁸ Тысяцкий – здесь: старший свадебный чин.

Анастасия сняла с себя последнюю одежду и встала перед Иваном как есть, неприкрытая. Через прозрачную кожу на руках и ногах были видны синеватые вены, которые чертили замысловатые рисунки и несли разгоряченную кровь царицы к самому сердцу.

– Красота-то какая! – притронулся государь к ее плечам. – Вот создал Господь!

Иван Васильевич вспомнил, что на смотринах, когда вором глядел за раздеванием невест, Анастасия выглядела красивой, но сейчас царица была особенно хороша. Тогда очарование девушки от Ивана скрывал полумрак, сейчас же она стояла совсем близко. Ярко горели факелы, и он видел ее белое, без единой родинки тело; такими бывают только мраморные изваяния. Длинные волосы спадали на грудь, спину и едва не касались пят. Соски спелыми вишенками выделялись на матовой белизне, и руки Ивана сами собой потянулись к жениной груди.

Анастасия не противилась, она только прикрыла глаза, когда почувствовала, что царская длань приласкала ее грудь, потом хозяйски погрелась у нее на животе и неторопливо заскользила вниз. Вдруг ласки прекратились, Анастасия услышала взволнованный шепот Ивана:

– Рубашку я с себя сниму... А ты не дрожи...

И снова, словно ожог, – горячее прикосновение царя, но сейчас Анастасия уже чувствовала не только его руки, а всего: лицо, губы, живот, ноги. Иван с силой прижимал ее к себе и мял, ласкал ее сильное, не знавшее мужниной ласки тело. Анастасия поняла, что неизвестность, которой она так страшилась, не так уж и неприятна.

А царь, утомленный желанием, оторвал ее от пола и понес на постель.

– Ты только не бойся ничего, Настенька, поначалу всем больно бывает, а потом благодать наступить должна. Перетерпеть надобно. Ты только слушай меня и делай так, как я велю. На вот тебе в руки ожерелье... яхонтовое оно. Если больно станет, так ты сжимай его покрепче, боль и угаснет.

Царь навалился на Анастасию всем своим большим сильным телом. Вопреки воле она напряглась и почувствовала боль, которая пронизывала все ее тело. А царь все уговаривал, шепча ласковые слова:

– Ты только потерпи, родимая, потерпи... Пройдет все. Познать я тебя должен.

И когда наконец Иван изнемог и скатился на широкую постель, Анастасия вдруг всхлинула и прижалась к мужу щекой.

– Как сына родишь, так в твою честь собор выстрою, – пообещал государь, с благодарностью вспоминая пророчество Василия Блаженного.

Иван поднялся с постели, и Анастасия, не ведавшая ранее мужеского тела, смутилась несказанно. Царь подошел к окну и глянул во двор. Горящие поленницы освещали каждый угол, а под окнами, оберегая сон новобрачных, с саблей в руке разъезжал на аргамаке конюший Михаил Глинский.

Дворовые назойливо колотили в барабан, и его глухой звук забирался и в царские сени. Москва торжественно праздновала брачную ночь государя.

– Эй, постельничий! – громко позвал царь.

Дверь не распахнулась, а только слегка приоткрылась, и тревожный голос постельничего пробасил в полумрак:

– Чего царь-батюшка желает?

– Покличь ближнюю боярыню, пускай к царице идет.

Царь присел на постель, надел на себя сорочку с петухами, вышитыми на груди, и повелел царице:

– Не лежи так... боярыня сейчас придет... Сорочку тебе накинуть надобно.

Царь спрятался за занавеской, а из соседней комнаты уже раздавался голос ближней боярыни, которая нарочито громко возвещала о своем приходе:

– Вот я и пришла... Заждалась меня невестушка. С доброй вестью к вам иду, матушка поклон тебе шлет и о здоровьице твоём печется.

Вошли боярыни, поклонились государыне, и Анастасии Романовне сделалось неловко от чужого погляда. Ближняя боярыня, перед которой она еще совсем недавно сгибала спину во время смотра, теперь согнулась сама, предстала перед Анастасией большим поклоном, слегка коснувшись пальцами ковра.

– Пойдем со мной, матушка, там и обмоемся, – повела она с собой царицу.

Замоченные сорочки, на которых осталась невинность царицы, лежали в тазу, и Анастасия Романовна вспомнила слова, сказанные Михаилом Глинским: «Девичий стыд до порога, а там и забыла».

Но стыд остался и сжигал царицу изнутри: тело помнило прикосновение Ивана, его жадную, неутомимую страсть. Анастасия чувствовала его всего, Иван по-прежнему находился внутри ее и топил своим телом в мягких перинах.

Ближняя боярыня смывала кровь с ног царицы и неустанно приговаривала:

– Какая же кожа у тебя, матушка Анастасия Романовна. Гладкая, словно шелк! Чистенькая, беленькая – ни одного пятнышка. А ведь у меня тоже когда-то такая кожа была. Эх, лебедушка ты наша! – И уже по-бабьи, оборотя к Анастасии Романовне лицо, спрашивала не без любопытства: – Больно ли было, государыня?

Анастасия помедлила мгновение, а потом призналась, как матери:

– Больно, боярыня.

– Я тебе, милая, травки одной дам. Попьешь этого настоя и враз про боль забудешь. Мне ее когда-то матушка моя покойница присоветовала, я ее и сейчас пью, когда живот стягивает.

Царицу обмыли, отерли полотенцем, укутали в халат, и боярыня, подтолкнув невесту к двери, сказала:

– Ступай к царю, матушка. Дождается небось тебя сокол. А я с дружкой государевым к маменьке твоей пойду. Скажем всему народу, что честная Анастасия Романовна перед богом и царем.

Медовый месяц

Иван Васильевич после свадьбы присмирел. Разогнал приبلудных девок, от которых становилось тесно в термах дворца, совсем отвалился от медвежьей потехи и больше коротал времечко наедине с Анастасией.

Бояре меж собой тихо перешептывались в темных углах дворца:

– Царь-то от Настьки Захарьиной совсем не отходит. Ближние бояре говорят, что так и ходит в сенях царь без порток, а как желание приспело, то враз снова на Анастасию прыгает. Совсем примял ее, бедную!

– Стараются государь, царство наследником укрепить хочет, – отвечали другие. – Вот увидите, и года не пройдет, как Настасья понесет. Гришка Захарьин тогда вообще нос выше крыш задерет. Еще и Думу надумает под себя подмять.

– Не по силам ему с Шуйскими тягаться!

– А только и Шуйские ничего поделать не смогут, если царь сторону Захарьиных примет.

Боярам было странно наблюдать такую неожиданную перемену в царе, который еще вчера казался необузданным отроком. Выходит, на всякого коня есть своя узда! Сейчас если появлялся царь на людях, то был тих и ласков даже с истопчими. За десять дней, прошедших после свадьбы, он только дважды появлялся в Боярской Думе и то, посидев недолго, снова удалялся к себе в покои. Иван как будто потерял интерес к государственным делам и тихо налаживал свое семейное счастье. Поговаривали, что Анастасия любила песни, и Иван, стараясь угодить жене, созывал в свои покои лучших гусельников, которые рассказывали о подвигах богатырей. И ближе к вечеру караул, стоявший в дверях, частенько слышал красивый и высокий голос подпевающего царя. О его пристрастии к пению знала вся Москва, и Иван не упускал случая, чтобы вместе с певчими не позабавить паству, пришедшую к службе.

Иван теперь быстро отпускал от себя бояр, которые, как и полагалось, поутру приходили к нему на Верх с докладом или для того чтобы просто предстать перед царскими очами. А однажды вышел в Думу в белых портках и домашнем халате и, зло махнув рукой, пожаловался:

– Ну чего разгуделись, словно пчелы в улье! С царицы меня согнали. Идите к себе. Нужда до вас настанет, так скороходов пришлю.

Бояре разошлись, все больше удивляясь перемене, произошедшей в государе. Справедливо рассуждали:

– Видать, добрая жена Ивану попалась, ежели так скоро нрав его могла усмирить.

Через неделю после замужества царица Анастасия выехала на богомолье.

В первый выезд государыню провожали три сотни стольников, кравчих и прочих дворян, которые ехали впереди царицыных саней, запряженных дюжиной лошадок; позади, оседлав коня по-мужски, Анастасию сопровождали мастерицы и сенные боярышни; на колымагах ехали кормилицы, ближние боярыни.

Поезд продвигался тихо, не было того грохота и звона, каким любил окружать свой выезд Иван Васильевич. Слышалось только похрапывание лошадей и их мерный топот о земную твердь.

Окна в карете царицы были завешены, и только оставалась едва заметная незашторенная полоска, через которую на город и людей посматривала Анастасия Романовна. Теперь она не принадлежала себе, а лицо ее, кроме мужа и верхних боярынь, да еще вот девок дворцовых, видеть не должен никто. И мужики, встречавшиеся на дороге, как можно ниже опускали головы, стараясь глубоким поклоном отвести от себя беду, понимая, что даже нечаянное лицезрение царицы может стоить каждому из них жизни.

Государыня повелела останавливаться перед каждой церковью, чтобы раздать милостыню и в молитвах отблагодарить Христа за содеянное чудо – теперь она царица!

С саней Анастасию бережно под руки подхватили ближние боярыни, и стольники, как бы невзначай, отвернулись в сторонку, чтобы не видеть ее лица.

Шел легкий снежок, падал на мохнатые шубы боярынь, ровным прозрачным слоем ложился на чернобурюю шапку царицы.

– Матушка Анастасия Романовна, позволь у тебя с бобрового ожерелья снежок стряхнуть, – сказала Марфа Никитишна, отряхивая поземку с ее одежды.

Сенные боярышни платками стали загораживать от горожан лицо царицы. Но в этом не было особой надобности: прихожане, стоявшие у церкви, уже и так были напуганы приходом государыни и лежали на дороге ниц.

Замерло все вокруг, и снег слой за слоем покрывал дорогу, купола церквей и прихожан, свалившихся у обочины.

– Милостыней всех пожаловать, – коротко распорядилась царица и пошла в храм.

Нищие не выпрашивали копеечку, как обычно, понимая, что дойдет черед и до них, и боярышни с котомкой в руках обходили всех, жаловали гривенниками.

Анастасия Романовна молилась недолго, после чего припала устами к мощам святых и поспешила дальше.

...Во дворец она вернулась только к вечеру, а народ, удивленный столь щедрым подношением, стал называть царицу Анастасия Милостивая.

Яшкина заимка

Яшка Хромой обласкал своей милостью Силантия с Нестером: справил им одежду, подарил татарские ичиги³⁹ и, испытав, как они знают кузнечное дело, поставил старшими.

В лесу был затерян целый поселок, принадлежавший Хромому. Поселение пряталось недалеко от дороги, за дубовой чащей, которая тесно обступила Яшкино детище, оберегая его от дурного глаза. Избы были строены основательно, из соснового теса, по всему видно, что мастеровые здесь подобрались справные, и сама деревня напоминала сказку, а домики – боровики, выросшие на душистой полянке. Если не хватало здесь кого-то, так это девиц в красных сарафанах, собирающих ромашки на венки.

Но место это было запретное, и мало кто догадывался, что совсем недалеко от стольной сплел разбойное гнездо Яшка Хромой. С трех сторон поселок был огражден болотами, а четвертой стороной упирался в песчаный берег лесного озера. Проникали сюда по затаенной тропе, которую не менее строго, чем царский дворец, охраняли караульщики. И если и забирался в эту чащу нечаянный гость, то обратно, как правило, вернуться не мог, а болота, что уходили на многие версты, строго хоронили еще одну печальную тайну.

Отсюда во все стороны Яшка-разбойник отправлял своих посыльных, которые промышляли на дорогах, возвращаясь порой с крупной поклажей.

Верные люди тайной тропой доставляли разбойнику добрую часть монет, собранных нищими на базарных площадях и у соборов.

Деревня напоминала разбуженный улей, где каждый знал свое дело: кузнецы правили сабли и собирали доспехи, чеканщики резали монеты, воинники упражнялись с оружием.

Яшке-разбойнику до всего было дело, и уже с раннего утра можно увидеть в деревушке ковыляющего атамана и слышать его резкий голос, сотрясающий лесную тишь.

– Ты кистенем-то от плеча маши, дура! Так не то что панцирь не помнешь, рубаху на бабе разодрать не сможешь! – Пристыженный детина старался вовсю, что есть силы лупил чучело, выколачивая из него ветхую солому. – Вот так! Шибче давай! Только тогда и будет толк. А если махать без ярости будешь, тогда сам по темечку получишь сабелькой. Вот тогда только поминать останется.

Яшка, несмотря на свою хромоту, был искусный борец, мало кто мог повалить его на спину, и, завидев мужиков, пробующих силу, советовал:

– Ты ногу его цепляй, вот тогда и перевернешь, а как повалил, так вставать не давай. Стисни руками шею и держи до тех пор, пока душу у него не выдернешь... Не маши палицей перед своей рожей, а то нос отшибешь. Нацепил на кисть ремень и во все стороны лупи, что вправо, что влево.

В одном месте Яшка задержался: разбойнички ногами друг у друга сбивали шапки с голов. Этой забавой на Масленицу потешались мужики в каждом селе, радуя собравшийся люд.

– Так на землю ворога не свалишь. Подпрыгнуть нужно и ногу вверх выбросить, вот тогда он и не встанет.

Взвился Хромец ввысь и так поддел ногой шапку у стоявшего рядом детины, что она отлетела на добрую дюжину сажень. Хмыкнул в пегую бороду Яшка-разбойник и заковылял дальше.

Народ поговаривал, что у Хромца не одна такая деревушка. И если исчезал надолго – трудно было понять, куда он ушел: проверить ли свои заимки или, быть может, шествовал господином по большой дороге.

³⁹ *Ичиги* – легкая обувь без каблуков на мягкой подошве.

Яшка Хромой не оставлял своей заботой и Нестера с Силантием, которые с рассвета дотемна резали рубли. Подойдет к кузнице, посветит фонарем и вымолвит:

– На медь серебро можно будет наложить, а потом эти деньги мы по базару пустим. Обижать вас не стану и за работу хорошо заплачу.

Яшка и вправду не обманывал: каждую неделю щедро расплачивался со всеми фальшивыми гривенниками, приберегая для своих нужд государевы рубли.

Оставаясь наедине, Нестер с Силантием не переставали материть Яшку-разбойника.

– Надо же нам было так угораздиться, чтобы попасть к этому хромому черту! Роздыха никакого не дает! – горячился обычно Нестер. – Только и делаем, что стучим молотами по наковальне. Если бы знал, что будет такое, лучше бы продал себя какому-нибудь боярину. А здесь взаперти сидим, как в темнице какой!

Силантий чувствовал справедливость сказанных слов, но решил молчать, и в ответ товарищу было злое постукивание по железу.

– Как пленных бусурман нас держит, – все более распалял себя Нестер, – только я убегу! Лучше сгинуть в болотах, чем пропадать у Хромого.

– Так ты же когда-то к Яшке хотел идти? – напомнил Силантий.

– То было раньше, а сейчас иное дело! Кто ведал, что он нас как рабов держать станет, – резонно замечал Нестер.

Убежать от Яшки, так же как и попасть к нему, было очень непросто: всюду расставлены караулы, которые пристально всматривались не только в сторону от становища, но наблюдали также и за тропами, которые выходили из него. Дорога открыта только для тех, кто знал заповедное слово.

Памятен был прошлый месяц, когда из деревушки попытались уйти двое оружейников. Их поймали у самой дороги на Москву, повязали бечевой и препроводили обратно. Потом беглецов долго бесчестили кнутом, а под конец сам Яшка вырвал им ноздри и, потрясая клещами, на которых остались кровавые шматки, предупредил собравшихся:

– Вот так будет с каждым, кто посмеет нарушить мою волю. Здесь я для вас хозяин! Здесь я ваш государь!

Более беглецов никто не видел, и болото спрятало еще одну тайну.

– Как же ты уйдешь, если по всем болотам у Яшки заставы стоят?

– Хитростью взять надо. – Нестер громадными ножницами резал медную пластинку. – Нужно будет сказать, что меди для денег поменять нужно.

– А сами они разве не могут?

– Скажем, что нужную они не сыщут! Не могу я здесь, Силантий. Не мед здесь. Яшка Хромой тот же боярин, только спрашивает построже, по одной только прихоти в озере утопить может. Дурень, одним словом! Обратно я на службу к царю проситься буду. Напишу ему в прощении, что я резчик искусный, а еще кузнец знатный. Авось не откажет.

Силантий размеренными точными ударами правил щербину на медном листе, а она не хотела распрямляться, оставаясь глубокой неровной царапиной.

Нестер продолжал:

– Покаюсь перед государем. Простит! Может, и Васька Захаров поможет, теперь он при царе думный дьяк, авось не забыл меня. Ты-то пойдешь со мной?

Новгородец наконец выровнял щербину, и в этом месте медь сделалась тонкой, изогнувшись волнистым краем. Тронув ладонью кованую поверхность, Силантий отвечал:

– Пойду, отчего не пойти. Мне здесь, у Яшки Хромого, тоже не жизнь.

Выслушав мастеров, стоящих смиренно перед ним, Яшка вдруг смилостивился:

– Медь, говоришь, нужна?

– Нужна, батюшка. Эта медь не годится, в прожилках вся. Покраснее бы надо да покрепче. – Мастера стояли повинными, словно холопы пред строгим баринном.

Яшка Хромой мало понимал в монетном деле, но деньги ему были нужны. Он поднялся с лавки, проковылял неловко в красный угол и, отцепив икону со стены, сунул ее в руки Нестеру:

– Целуй Божью Матерь, что не убежишь, только после того в Москву идти можешь.

Нестер взял икону и, не моргнув глазом, побожился:

– Вот тебе крест, что не убегу!

– Икону-то целуй! – приказал Яшка. – Без этого твоя клятва силы не имеет. И не в лоб целуй, – заметил он, – это тебе не покойница какая-нибудь, ты к рукам приложишься!

Нестер поцеловал икону Божьей Матери.

– А теперь ты целуй, если идти желаешь, – повернулся Яков к Силантию.

Новгородец взял икону, секунду-другую мешкал, а потом поцеловал и он.

– Идите себе с богом, проводят вас. А как медь отыщете, так сразу подойдите к безрукому юродивому, что у ворот Чудова монастыря сидит, и скажите ему, что требуется. На следующий день я вас и заберу. Ступайте, – перекрестил вор на прощание.

Нестер с Силантием ушли тайной тропой, провожаемые молчаливым и хмурым старцем, который за всю дорогу не произнес и слова. Только иной раз оглянется он назад: не утопли ли ходоки – и ступает далее в темную чащу. А когда впереди показался просвет, старик наконец остановился.

– Пришли... дальше вам самим идти. Сначала вот до того пня прямиком, а от него к сухой березе, а далее уже дорога. Да только не вздумайте нигде сворачивать, трясина всюду!

В доказательство своих слов он отбросил посох в сторону. Раздался тяжелый шлепок, и поляна, на которой еще мгновение назад росли цветы и деловито жужжали шмели, развернулась трясинной, показывая свое гнилостное нутро. Узловатая палка, в виде хищного клюва, еще некоторое время держалась наверху, а потом исчезла в болотной жути.

Силантия прошиб озноб.

– Вот так-то! – хмуро усмехнулся старик. – Шаг в сторону ступить, так ни бог и ни дьявол не выручат. Одним только лешим здесь и житье. А по ночам черти здесь такой шабаш устраивают, что хоть уши затыкай. – И, крестясь, с грустью вздохнул, видно, вспомнилось деду что-то свое. – Много здесь безвинных людей сгинуло. Всех теперь и не упомнишь, спаси, господи, их грешные души! – Накинув на макушку лисий трех, сказал: – Ну, мне пора – Яшка дожидается.

Старик неторопливо пошел прочь, оставив Нестера с Силантием посреди узкой тропы.

Разбор челобитных

Мастеровые в грамоте были не сильны, и потому, заплатив гривенник дьяку Разрядного приказа, Нестер попросил написать прошение царю.

Дьяк, плотный, невысокого роста мужичонка, хмельным взглядом стрельнув на гривенник, который беспокойно зазвенел на столе, согласился немедленно.

– Стало быть, прошение писать надумали самому государю? – упрятал он монету глубоко в кафтан.

– К нему, – отвечал Нестер. – Отпиши ему об том, что желаем быть при его милости, как и прежде, чеканщиками, и что в плутовстве боярина Монетного двора Федора Воронцова замешаны по наговору... Напиши еще, что служить царю мы будем пуще прежнего, если поверит государь-батюшка крестному целованию холопов своих.

Дьяк слушал молча, поглаживая пятерней большую плешь, которая блестела особенно сильно не то от выступившего пота, не то от частого поглаживания. Ворот кафтана у дьяка был распахнут, а на сорочке виднелось отвратительное жирное пятно.

– Доброе письмо будет, – качнул он головой и стал ножиком править перо. – Напишем так... «Великому князю, царю и самодержцу всея Руси Ивану Четвертому Васильевичу Второму от холопов его челобитная»... Как тебя звать?

– Нестер... а товарища моего Силантий, – живо отозвался кузнец, несказанно довольный высоким слогом письма.

– «...Нестера и Силантия. Позволь, государь, как и прежде, заняться чеканным делом...»

Нестер и Силантий вместе с другими просителями остановились на Гостином дворе, где обычно устраиваются жалобщики, приезжавшие в Москву за правдой со всей волости, а то и с дальних окраин Руси. Ябеды были отданы в приказ, и жалобщики с нетерпением ждали вызова на Челобитный двор. После трех суток ожидания на Гостиный двор явился посыльный и, грозно глянув на просителей, застывших перед ним, как перед важным чином, сообщил, что выслушать их готов сам государь Иван Васильевич, а потому они должны не мешкая ступить в Кремль.

Наделав паники среди жалобщиков, посыльный уехал, а Нестер с Силантием долго не могли решить, в чем предстать перед самодержцем.

Наконец, собравшись и нарядившись, ябедники гуртом затопали в Кремль.

– А царь-то нас по тяжбе каждого вызывать будет? – спрашивал у Силантия здоровенный детина. – Или разом всех заслушает?

Было видно, что он робеет, и его тревога понемногу перебралась и в чеканщика.

– Думаю, разом всех. – Поразмыслив недолго, добавил: – А может, и каждого в отдельности.

Показался Кремль: празднично полыхали на заходящем солнце купола Архангельского собора. Мужики замешкались, а голос караульщика уже торопил:

– Ну чего стали? Царь-батюшка ждет!

Они прошли на царскую площадку – прямо перед ними Грановитая палата и множество крестов на самой крыше заставили еще раз согнуться. Здесь же, на площадке, расхаживали бояре, дьяки, по каким-то делам сновали служилые люди.

– Красное крыльцо решеткой закрыто, – подивился детина. – Мне приходилось бывать в Кремле, но такое я впервые вижу.

Увиденному великолепию ребячьим восторгом дивился и Силантий. Вот какой красотой себя царь окружил! Однако решетка перед Красным крыльцом было делом невиданным.

– Как же царь спускаться будет? Не положено государю через задние покои шастать, как простому служилому.

– А может быть, Красное крыльцо наколдовал кто, вот и держат за решеткой, пока колдовские чары не сойдут?

Но скоро на Красное крыльцо один за другим стали выходить ближние бояре. Силантий среди прочих узнал и бывшего дьяка Монетного двора Василия Захарова. Он красовался рядом с Михаилом Глинским и внимал его быстрым речам. На самой верхней ступени застыл Федор Шуйский; прячась от слепящего солнца, боярин из-под руки смотрел на двор. Затем показались князь Юрий Темкин и Захарьин, и караульщики, желая оказать честь родне царя, распахнули двери перед Григорием Юрьевичем пошире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.